

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 48

1990



*Людмила
ПЕТРУШЕВСКАЯ*

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

СВОЙ КРУГ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 48

Издается с января 1925 года

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

СВОЙ КРУГ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

Людмила Стефановна Петрушевская родилась в Москве. Закончила МГУ. Работала корреспондентом на радио, редактором справочного отдела телевидения, затем ушла с работы и жила литературным трудом. Писала рассказы, сказки, сценарии мультфильмов, переводила с польского, а когда полностью прекратили печатать — стала писать пьесы по предложению МХАТа, в котором, однако, ставиться начала спустя 16 лет, когда уже была «разрешенным» автором.

В 1988 году вышла первая книга рассказов «Бессмертная любовь», затем книги пьес «Песни XX века», «Три девушки в голубом», сборник сказок «Лечение Василия».

В стране и за рубежом ставились пьесы «Уроки музыки», «Чинзано», «Три девушки в голубом», «Квартира Коломбины», «Московский хор» и др. Сочетатель сценария мультфильма «Сказка сказок».

В настоящее время закончила работу над новым сборником рассказов «Песни восточных славян» и повестью «Время ночь», а также книгой новых сказок «Сон девочки».

ТАКАЯ ДЕВОЧКА

Теперь она как бы для меня умерла, а может быть, она и на самом деле умерла, хотя за этот месяц в нашем доме никого не хоронили. Наш дом обыкновенный — пять этажей без лифта, четыре подъезда, напротив точно такой же дом и так далее. Если бы она умерла, сразу бы стало известно. Значит, она еще живет как-то.

Вот гляди: у меня к ящику с незаполненными формулярами приклеена фотокарточка, контакт. Это она, Раиса, Равиля, ударение на последнем слогe, татарка. Ничего не видать на этом контакте, лицо завешено волосами, две ноги и две руки: в позе «Мыслителя» Родена.

Она всегда так сидит, даже недавно у меня на дне рождения так сидела. Я ее наблюдала в первый раз в отношениях с другими людьми, до этого времени мы общались только между собой, двое на двое — она со своим Севой и мы с моим Петровым.

Оказалось, что и танцевать она не умела и сидела тихо, как мышь. Мой Петров ее вытянул танцевать, но она после этого танца сразу ушла домой.

Да, танцевать она не умеет, но проститутка она профессиональная. Ее Севка откуда взял, из какой ямы выгреб? Она только что из колонии вышла и опять пошла по рукам, а он на ней взял и женился. Он сам в растроганности об этом рассказал, но просил под страшной клятвой, чтобы я никому не говорила. Он и про ее отца рассказывал, как Раиса с пяти лет клеила коробочки для пилюль, они с матерью клеили для отца, это отец достал себе такую работу, потому что был инвалидом. А потом мать умерла от сердца в больнице, и отец стал открыто приводить к ним в комнату женщин. В общем, страшные вещи. И как Раиса сбежала из дому, попала к каким-то мальчикам в пустую квартиру и они ее несколько месяцев не выпускали, как потом, через сколько-то времени, эту квартиру раскрыли. Но это все история, это никого теперь не касается, а важно то, что Раиса и сейчас этим занимается.

Севка уходит на работу, она остается дома, она нигде не работает. Севка ей оставляет обед — приходит домой, а она даже не разогрела, даже на кухню не ходила. Лежит целыми днями, курит или по магазинам шастает. Или плачет. Начнет плакать ни с того ни с сего — плачет четы-

ре часа подряд. И конечно, соседка ко мне прибегает, на ней лица уже нет — бегите спасайте Раечку, она плачет. И я мчусь с валидолом, с валерьянкой. Хотя у меня у самой бывает такое — и не просто так, без повода, — что хоть ложись и помирай. Но что у меня в душе творится, какие тяжести мне приходится выносить — никто не знает. Я не кричу, не катаюсь по неубранной кровати. Только когда меня мой Петров в первый раз бросал, когда он с этой Станиславой хотел пожениться и они уже искали деньги в долг на развод и кооператив и Сашу моего хотели усыновить, — только тогда я единственный раз в жизни сорвалась. Правда, Раиса меня тогда защищала, как своего детеныша, и на Петрова прямо с ногтями бросалась.

У Петрова моего это по три-четыре раза в год бывает, такая любовь вечная, бесконечная. Это я теперь уже знаю. А сначала, когда он в первый раз от меня уходил, я чуть было не бросилась с нашего третьего этажа. Я прямо вся дрожала от нетерпения все кончить, потому что накануне он мне сказал, что приведет Станиславу знакомиться с Сашей. Сашу я рано утром отвезла к матери на Нагорную, а потом вернулась и ждала их целый день. А потом полезла на подоконник и стала привязывать кусок провода, который остался после того, как Петров натянул его на кухне в несколько рядов для Сашиных пеленок. Провод был крепкий, изолированный хлорвинилом. И я привязала этот провод к костылю, который давно Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить карниз. Тогда еще мы только получили эту комнату, и еще Саши не было, и я помнила, что Петров бил стену почти час. Я обвязала концом провода этот костыль, но провод был гладкий, и все никак не держалась петелька на костыле. Но я все-таки примотала провод, сделала петлю на другом конце для шеи, как-то сообразила, что куда вязать. И как раз в этот момент с лестницы стали нашу комнату открывать ключом. И я забыла все на свете — даже забыла про Сашу, а помнила только одно, что они хотят его усыновить, и от этого он уже как будто был для меня испоганенный, как будто не я его родила, не я кормила. И я испугалась, что уже Петров со Станиславой в квартиру входят, и рванула окно за ручку так, что пластырь затрещал. Мы окно пластырем заклеивали на зиму.

А в комнате было уже темно, за окном было видно дом напротив, пустой, без огней — его еще не заселили, только неглубоко внизу горел уличный фонарь. И я еще раз рванула окно, так что даже рама подалась. И в этот момент в комнату вошла Раиса и кинулась обнимать меня за ноги. Она слабая, а я сильная и разъяренная была в этот момент, но она уцепилась за мои ноги как собака и все твердила: «Давай вместе, давай вместе, подожди меня». А я тогда подумала в том плане, что ты-то что лезешь, что у тебя за печаль, и даже оскорбилась как-то за себя. У меня, можно сказать, жизнь обвалилась, меня бросил муж, бросил с ребенком и ребенка этого хочет отнять — а ты-то что? Но Раиса лезла и лезла коленкой в открытое окно, хотя кидаться с нашего третьего этажа в глубокий снег без петли на шее — это смешно. И я ее со всей силой оттолкну-

ла и попала рукой по лицу, а лицо было мокрое, скользкое, ледяное. И я спрыгнула с окна совсем, закрыла окно, а пластырь весь скорчился, и не было никакой возможности его натянуть, да и руки у меня плохо слушались.

И оказалось у меня после этого случая только одно — холодность в голове. Не знаю, то ли Раиса сыграла здесь свою роль, но я поняла, что все эти бессмысленные метания и поступки по первому крику души — все это не мое. Что же мне равняться с Раисой?

И оказалось, что все действительно надо было делать с умом. Я делала так, что эта Станислава вскоре стала сказкой. Это оказалось очень легко, потому что Петров мне по своей глупости проговорился, где и кем она работает, а уж имя у нее было редкое. Потом у Петрова пошли другие, я даже многих по имени и не знала и плевать на них хотела, а не то чтобы бросаться и вешаться. И когда он заводил со мной разговор о разводе, я только отмахивалась. На меня не действовал его плач, его слова о том, что он меня ненавидит. Я ему только говорила с усмешкой: «От себя, мой милый, не убежишь. Если ты шизофреник, то пойдй полечись».

Но по правде сказать, у него было безвыходное положение: выписаться из его комнаты, он знал, я не выпишусь. Мне некуда. Нашу шестнадцатиметровую комнату разменять на две невозможно. И еще одно: когда у нас родился Саша, Петрову на его производстве обещали двухкомнатную квартиру. Поэтому я каждый раз знала, что он погуляет и вернется, потому что, когда построят дом и встанет вопрос о желающих, тут ему одному, да еще разведенному, не дадут ничего. А уже когда получим двухкомнатную квартиру — тогда и разменять ее можно, и развестись. Так что каждый раз Петров оставался со мной ждать двухкомнатной квартиры. А может быть, и не в этом было дело, и он возвращался ко мне не поэтому. Потому что я всегда чувствовала, что если Петров по-настоящему приспичит, он не посмотрит ни на квартиру, ни на что, а уйдет, как будто его и не было.

И когда кончался у него очередной роман, он начинал оставаться вечерами дома, приглядывался ко мне, как я летаю из кухни в комнату, помогал мне с Сашей — даже брал его из детского сада и укладывал спать, когда у меня бывала вечерняя смена. И наконец приносил бутылку полусладкого шампанского, зная, что я это вино люблю. Надо сказать, что я всегда такой момент предвидела и тоже со своей стороны готовилась к нему. Он говорил мне со вздохом: «Выпьешь со мной?» — и я доставала из кухонного буфета чешские фужеры. Это было всегда волнующе, как первое свидание, с той только разницей, что мы оба знали, чем это сегодня кончится. Такие зигзаги в нашей жизни придавали ей остроту. И Петров мне шептал, что я самая горячая, самая нежная, самая темпераментная.

А Раиса — она ведь в таких вещах стенка стенкой. Наши знакомые ребята, которые с ней имели дело — нельзя сказать что спали, потому

что все это обычно происходило днем, когда Севки не было дома, и достаточно было застать ее в комнате одну, чтобы очень легко всего добиться, — ребята говорили, что с ней неинтересно и она ведет себя так, как будто ей не то что все равно, а даже противно. И она ни с кем не желала после этого разговаривать, как это обычно бывает, — ведь люди не только животные, но и мыслящие существа, им интересно знать, чем живет тот человек, который с ним рядом, кто этот человек вообще. Мы иногда с Петровым разговаривали целыми ночами, особенно после его зигзагов, и не могли наговориться. Он мне рассказывал о своих женщинах, сравнивал их со мной, а мне все было мало — я выпытывала у него все новые и новые подробности. И мы вместе смеялись, правда очень по-доброму, над Раисой. Ведь все наши знакомые ребята, ну буквально все, даже с родины Петрова, приезжавшие к нам, все перебивали у Раисы. И все нам о ней рассказывали.

Вот, например, такой мальчик, Грант, земляк Петрова. Мы ему писали, что если он придет и нас не будет дома — ключ хранится в соседней квартире у Раисы, она почти всегда на месте. Мы уже давно так сделали, чтобы ключ был у Раисы, — так удобней. И ее ключ был у нас. Чтобы не звонить лишний раз друг другу в квартиру, не вмешивать в это дело соседей.

Когда мы оба вернулись с работы — Грант уже сидит на Сашиной диван-кровати, красный, грустный, рассматривает монографию Сислея. А на детском секретере лежат Раисины ключи от нашей двери. Мы все сразу поняли, засмеялись. Я спрашиваю: «Что, Раиса раскололась?» А он смотрит на нас с испугом, потрясенный. Потом, когда мы ему все объяснили, он протрезвел и успокоился, рассказал во всех подробностях. Говорит, что когда она открыла ему дверь, то он даже спросил: «Что вы меня так испугались? Я же не кусаюсь». А она отскочила в угол. Она была в одном халате, она всегда так дома ходит. И он добавил, что у него было такое впечатление, что она сама на все идет, потому что она боится чего-то, просто теряет память от страха. И от этого потом остается отвратительный осадок на душе, как будто оскорбил кого-то, хотя она ничего не говорила и не сопротивлялась.

Но мы его успокоили, чтобы он не волновался. Это у нее со всеми так внешне выглядит. Это она с первого раза производит впечатление маленькой, черненькой, тихой девочки, и танцевать-то она не умеет, и когда к нам приходят гости, она тише воды сидит на Сашиной диван-кровати, и выгащить ее танцевать можно только с большим трудом, потому что она пугается многолюдья. И все наши ребята на это попадают, у всех просыпается охотничий инстинкт, все тянут ее из угла за руку, а она прямо вся дрожит. И уходит домой.

Она на меня и с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалящее впечатление, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенько-

стью, а прямо жалит в самое сердце. Никакая любовь не мешает этому жалению, это чистая жалость, от которой перехватывает дух.

Началось это с того, что она позвонила к нам в квартиру в четвертом часу ночи, не разбирая, что это чужие люди, что ночь. Я открыла, она стоит в своем халатике, щеки мокрые, слезы льются с подбородка, руки в карманах, вся дрожит — и просит сигаретку. Я провела ее на кухню, включила свет, нашла у Петрова в пальто начатую пачку сигарет. Покурили мы с ней, я ее спрашиваю: «А где ваш Сева?» А она опухшими губами отвечает: «В командировке». Присидели мы с ней долго, я ей кофе сварила, пока она не перестала дрожать. Потом я почувствовала, что Саша во сне раскрылся, пошла в комнату, закрыла его, возвращаюсь — она опять скрючилась на табуретке — плачет. «Что вы? — спрашиваю. — Наверное, по мужу скучаете?» Она подняла голову и говорит: «Я боюсь атомной бомбы». Не смерти она боится, а бомбы, представляешь? И видно, что ни капельки она не играет — вот чего в ней никогда не было, так это игры. Она все делала то, что приходилось делать, и никогда не притворялась. Вот что в ней было странно — у нее совершенно не было сопротивления, что ли. Что-то в ней было испорчено, какой-то инстинкт самосохранения. И это сразу чувствовалось.

Перед уходом, в дверях, она заплакала снова и так и ушла к себе. Я не стала ее удерживать — уже начиналось утро, мне к девяти было на работу. И потом, на работе, я всем своим девкам рассказала про свою соседку, такую девочку, совесть мира. Я даже гордиться ею начала.

И мы не могли дня друг без друга прожить. Или они с Севкой у нас торчали, или мы у них. Пойдешь за сигаретой — она просит: посиди, покурим. И на два часа. Я ей все рассказывала, вот как сейчас тебе. Я такой человек, мне легче от этого, когда я рассказываю. И вот мы два часа сидим, мировые проблемы обсуждаем — о жизни, о людях. Я-то спокойно сижу, разговариваю. Я хорошая хозяйка, у меня уже с утра все сделано, уже и обед готов, и сразу после обеда я в институт сматываюсь, когда у меня вторая смена. А она и не работает, и ничего у ней не сделано — как будто она и не жена Севке. Он и на работу, и в магазин, и домой летит как сумасшедший, как будто у него там младенец кричит. Придет, все уберет — хотя от Раисы, кроме полной пепельницы, никакого мусора не оставалось. Тарелок она не пачкала, Севка ей в кастрюльке суп оставит, на сковороде второе — она даже и не заглянет, даже ложкой не поболтает.

Севка и к врачу ее водил, отпросился с работы и повел. Врач нашел у нее полное истощение и даже чуть ли не дистрофию. Как будто человек в блокаде живет. Прописал ей колоть алоэ.

Она купила себе шприц — и вот вам развлечение, колет сама себе в ногу повыше колена. Все у нее по порядку — тампоны, спирт, бикс для стерильной ваты, сама кипятит иглу. Откуда-то она это знает. Потом сядет к окну, скажет: «Отвернитесь», — и такой тихий цедящий звук раздастся, такое шипение. Я прямо внутренне содрогалась, смотрю на Сев-

ку — он белый стоит, о притолоку опирается. А она говорит: «Все, дураки», — а сама еще шприц не вынула, еще следит, как последний осадок из шприца выходит.

Так мы дружили, она с моим Петровым из-за меня сколько раз схватывалась. Ругаться она не умела как следует, а только говорила: «Ты настоящая сука, понял?» Наверное, так в колонии ругались.

Петров тут недавно одной девушкой занялся, у нас же в институте работает, в лаборатории у Антоновой. Ты ее знаешь, такая полная, рыхлая, пустое место. И мой Петров заходит и заходит за мной на работу, хотя знает, допустим, что я во вторую смену и идти домой не могу. И все-таки спрашивает: «Идешь домой?» Отвечаю, что нет. «Тогда не буду тебя ждать», — и идет напрямик к той в лабораторию. И она, как ни странно, ко мне в картотеку стала заходить. А Петров уже тут как тут. Общий разговор, и уже я оглянуться не успела, как Петров ее приглашает к нам в гости. Он вообще очень любит, когда к нам гости приходят, просто жить без этого не может. Если вечер у нас пустой, он сидит мрачный, а потом вдруг сорвется и уйдет.

И как раз такое время наступило, что эта пустота обязательно должна была чем-нибудь заполниться. Я просто физически чувствовала приближение этого. Я смотрела по сторонам и отмечала про себя всех знакомых девчонок и спрашивала: эта или та? У нас в доме в это время бывало много народу. Сашу я почти переселила к маме на Нагорную, хотя у нее там была еще внучка. Каждый вечер гости — мы с Петровым жили лихорадочно, как на постоялом дворе, приходили к нам компании с гитарами, приносили вино. Я делала свои фирменные блюда — колбасу из печени с орехами в целлофане и жареный лук с желтком и черными гренками. И у меня было такое впечатление, что все идет псу под хвост, все обваливается, все сейчас разлетится, потому что, несмотря на песни под гитару и танцы, несмотря на магнитофон и красивых парней и девушек, было у нас в доме в эти вечера насильственно, скучно.

И я смотрела на всех этих молоденьких девушек, которые созревали целыми гроздьями в то время, как я рожала Сашу, растила его, ходила по магазинам, кормила и обстирывала Петрова, в то время как мы покупали магнитофон и детскую мебель для выросшего Саши. Девушки шли в наступление целыми ротами — красивые, модно причесанные, ловко оборачивающиеся со своими скудными стипендиями и зарплатами, готовые на все, агрессивные. Но я знала, что мне не их надо бояться. Все-таки я своего Петрова знала. И я смотрела на всех девушек и знала, что ему надо Раису, и не просто так, а на всю жизнь.

Но, как ни странно, отношения у них не только не наладились, но даже и ухудшились. Она его просто видеть не могла и все реже появлялась в его присутствии у нас дома. Она не могла ему простить того, что я валюсь с ног от неизвестности — ведь я ей все рассказывала, кроме своего главного подозрения.

И потом вот он пригласил в гости эту полную, рыхлую Надежду из третьей лаборатории. У него есть эта странная привычка: каждую из своих девушек он обязательно приводит к нам в дом. Я не могу понять, что заставляет его так делать. Иногда я думаю, что он это делает ради меня, против меня, чтобы заставить меня еще больше мучиться и этим сделать свой зигзаг еще более для себя сладостным. Но вдруг я думаю, что я здесь ни при чем, что Петров приводит к нам свою очередную девушку ради собственного спокойствия, чтобы все было честно, без обмана и та девушка точно знала, на что идет, на что замахивается, — а сам Петров после этого как бы отстранялся от хлопот, уходил из мертвого пространства, разделявшего нас с этой второй женщиной, чтобы мы вели борьбу друг с другом, а не с ним. А может быть, Петров не способен на такой утонченный психологизм и просто вначале, когда у них еще дело не дошло до постели, заманивал ту вторую девушку двусмысленной, щекочущей ролью подруги семейной пары. Ведь сам Петров внешне довольно серый, и что в нем находят все эти женщины, я не знаю.

Короче говоря, в нашем доме посреди всего этого бедлама появилась эта девушка Надежда. Мне показалось даже, что Петрову она не очень интересна, что она только мой слабый постельный эквивалент и на этот раз зигзаг будет недолгий. Очень уж она была покорна, нетребовательна. В ней не было ничего от дичи, которую надо бояться спугнуть. Она была как домашнее животное, которое можно было просто гнать хворостиной. Поэтому я ее пожалела. Мы немного с ней подружились. Мы вместе уходили из института, когда я работала в первую смену. И я постепенно выяснила, что она ничего в жизни не понимает, ни в чем не знает толка — ни в хорошем белье, ни в книгах, ни в еде. Она только слепо чувствовала, всей своей кожей, тепло и доброту и тогда, не меняя выражения лица и ни слова не говоря, шла на это тепло. На ее счету было в институте несколько ничем не окончившихся романов и даже беременность, в результате которой ребенок пришел на свет мертвым. Я помнила это происшествие и помнила, что бабы у нас говорили, что так для Надежды лучше.

Наша дружба втроем продолжалась довольно долго и еще бы продолжалась, если бы не один случай. Выходя из комнаты за кофейником, я взглянула на себя в зеркало в прихожей. Там отражалась часть комнаты и стол, за которым сидел Петров с Надеждой. И я увидела, что Петров осторожно, как ребенка, гладит согнутой ладонью Надежду по подбородку и что Надежда берет эту руку Петрова и кладет ее себе на грудь.

Я держала себя в руках, хотя мучилась только одним: как же так я могла проморгать? Почему я думала на Раису, когда реальная опасность — вот она, вспухла у меня под боком, и это тем страшней, что Надежда ничего из себя не представляет. Раиса все-таки — «совесть мира, такая девочка», а тут — пустое место.

Петров пошел провожать Надежду и вернулся в час ночи, истощенный и потерявший все силы, разбитый. Я его не тронула, не стала ничего ему говорить, потому что я знала: в таком состоянии Петров идет к одной цели — спать. Если бы я ему что-нибудь сказала и выгнала бы его, он бы мог спать на кухне, на лестнице, на подоконнике. Он мог бы уйти к Надежде и остаться у нее. Почему-то он пришел домой. Значит, еще не все потеряно. Значит, это у него еще не последняя стадия, а просто начало нового зигзага, который был не чем иным, как просто протестом Петрова против однообразия супружества. И ничто другое не заставляло Петрова так метаться. Просто ему в один прекрасный день становилось скучно. Иногда он откуда-то доставал и приносил какие-то безграмотно перепечатанные и переснятые лекции и медицинские советы — в сущности, чистейшую порнографию. Мы читали это вслух при Севке с Раисой, но надо сказать, что на них это не производило должного впечатления. Они вежливо слушали, но им это было безразлично, как если бы мы вдруг взяли читать вслух советы больным атеросклерозом. Хотя нас с Петровым эти лекции ужасно, до красноты, смешили. И для нас начинался тоже некий зигзаг, но он бывал очень непродолжительным и совершенно лишенным того полного душевного умиротворения, которое наступало в тот вечер, когда Петров возвращался в лоно семьи.

Так вот, я в расчете на то, что Петров сам собой вернется обратно и на этот раз, не обращала внимания ни на что — ни на поздние возвращения, ни на то, что Петров совсем забросил Сашу и перестал учить его читать. Но через некоторое время сосед по квартире сказал мне, что всю эту неделю, когда я работала в вечернюю смену, Петров приводил к нам какую-то полную девушку и уводил ее только перед моим приходом. В эти вечера и Саши не было дома — мама забирала его из детского сада и увозила к себе на Нагорную, так что комната была свободна.

Я тут же позвонила маме и попросила ее в виде исключения посидеть с Сашей этот вечер у нас дома, уложить его и подождать моего прихода. Мама не хотела, потому что у нее на Нагорной было много работы, мой старший брат буквально бросил ей на шею своего ребенка, Ниночку. Но я уговорила маму помочь мне — пускай брат обойдется в этот вечер без нее. Не помню, что я там наговаривала на своего брата, чтобы только улестить маму и заставить ее приехать ко мне. Мама ничего не знала о зигзагах Петрова, а если бы узнала, она бы немедленно развела нас. Поэтому я ей ничего не говорила, и у нее были довольно хорошие отношения с Петровым.

Как я и рассчитывала, в тот вечер Петров опять привел Надежду, и они наткнулись на мою маму. У них там что-то произошло, у мамы с Надеждой. Потому что, я повторяю, война шла не у нас с Петровым, а у нас с Надеждой. И это был мой расчет, что Надежда окажется слабой и при виде разъяренной тещи Петрова и при виде плачущего ребенка отступит.

Может быть, она и отступила. Но не Петров. Он вообще не пришел в эту ночь домой, и похоже стало, что в конце концов он так и не вернется. Несколько раз он приходил домой — за бритвой, за носками и рубашками, потом за магнитофоном. Он одичал, вытянулся и внезапно стал похож на того милого мальчишку, который до потери сознания любил меня когда-то.

Я ему ни слова не говорила, без звука отдала магнитофон и все, что он хотел, а он вел себя строптиво, как будто в уме заранее отвечал на незадаанные вопросы. Но я молчала, хотя уже видно было, что никаким благородством его не вернуть.

И тут я поняла, что теряю все, весь мир. Только Раиса еще оставалась со мной по эту сторону, а весь мир был по другую. Мама, напуганная неожиданным результатом своего вмешательства, была рассержена на меня за эту подстроенную встречу. Саша? Я женщина трезвая. Я понимаю, что детская привязанность и любовь не направлена на родителей как на конкретных людей. Любое другое сочетание лица, фигуры, цвета волос, характера, ума он с такой же силой полюбил бы. Он любил бы меня, если бы я была убийцей, великой скрипачкой, продавцом магазина, проституткой, святой. Но это только до поры, пока он сосет из меня свою жизнь. Потом, все так же безразличный ко мне как к человеку, он уйдет. Это сознание его близкой измены каждый раз обескураживало меня, когда я наклонялась обнять его, уже вымытого и лежащего в полутьме на своей диван-кровати. Может быть, этим своим чувством я была обязана Петрову, приучившему меня ожидать измены.

Мама тоже уже не любила меня. Да она никогда и не любила меня как человека, а только как свое порождение, свою плоть и кровь. Теперь, на старости лет, она была болезненно привязана к Саше и к другой своей внучке, Ниночке. А я, и Петров, и старший брат мой, и его жена были уже для нее безразличны — просто родные.

Я пошла к Раисе и рассказала ей все. У меня, как видно, есть уже опыт в таких рассказах. Я рассказываю своим девочкам в институте, рассказываю даже случайным знакомым женщинам вроде тех, с которыми вместе валяешься три дня в роддоме после аборта. Но Раисе я рассказала не так. Раиса действительно поняла, что она у меня на свете одна. Что здесь речь уже идет не о зигзаге, а о потере жилья для меня и для Саши, о потере надежды на двухкомнатную квартиру, о которой я так страстно мечтала и которая мне даже снилась. Сколько раз в наши ночные разговоры мы с Петровым обставляли ее мебелью. Петров хотел сам расписать стену в кухне, как Сикейрос, одной громадной фреской, хотел расписать даже белый эмалированный поддон от газовой плиты, хотел расписать холодильник. Это все были мечты, хотя мой Петров неплохо рисует перышком, срисовывает из журналов портреты знаменитых джазменов, вставляет их в черные багетки и вешает по стенам. Петров может вести партию фоно в джазе, несколько лет он выступал в самодеятельности в клубе «Победа», пока не почувствовал себя старым

для всех этих смотров самодеятельности, для поездок в автобусах по подшефным колхозам, для принудительного сопровождения участниками класса сольного пения. Петров освоил и перкаши, и немного контрабас. И несколько раз он пел в сопровождении своего квартета — рояль, гитара, контрабас, ударник — английскую песню «Шейкохэм» — так она, кажется, произносилась. Но никто не оценил его простой, без хрипотцы и оттенков, голос, его безупречный английский выговор. Он пел не так, как говорил, в этом ведь тоже есть искусственность. Он пел просто, громко, деревянно, монотонно, но в этом было столько прямоты, столько мужской искренности, незащитности. Он пел весь напрягшись, как струна, и немного вздрагивал в ритме песни. Я его слушала один только раз, когда Саше было два месяца. Мне было не до Петрова в тот вечер, молоко прямо-таки раздавливало мою грудь, стояло во всех дольцах, и грудь чувствовалась как деревянная, граненая. Я нервничала, бесилась, чувствовала, что Саша хочет есть, а номер Петрова, как всегда, был в самом конце программы. И вот наконец он со своими ребятами вышел на сцену, они катили рояль, а он нес маленький микрофон, новинку. Долго ударник устанавливал свои перкаши, потом они сыграли Чемберлена, мягкий вальсок, потом наконец «Шейкохэм».

Петров пел, подрагивая в такт всем своим длинным телом, и я немного даже заслушалась его, но молоко вступило в грудь, и я поняла, что надо бежать к Саше, он сейчас кричит и требует свое. И я встала, хотя песня еще не кончилась, обернулась спиной к Петрову и побежала из зала. Мне было не до Петрова, как мне и сейчас не до него, потому что все во мне занял Саша, как тогда молоко заняло всю мою грудь, оставив только перегородки. И я до сих пор не знаю, как пережил Петров мое бегство из зрительного зала и хлопали ли ему так, как он этого заслуживал, — я его не спрашивала, он мне не рассказывал. Я ему так и не объяснила ничего, мы вообще в то время мало с ним разговаривали.

Не знаю, зачем я все это рассказывала Раисе. Я плакала перед ней, как будто она одна могла меня спасти. Я не знала, чем мне вернуть Петрова. Не только квартира — мечта моя — рушилась, но и возникал грозный призрак Сашиной безотцовщины, а это самая худшая рана для меня, и, может быть, именно поэтому я так и цеплялась все время за Петрова. Я стану матерью-одиночкой, Саша будет тосковать по мужской руке и уйдет от меня, как только первый встречный товарищ поманит его. Он пойдет за любыми брюками, изголодавшись по мужскому слову и обращению, он пойдет и в шайку, и в колонию.

Я плакала перед Раисой, а она сидела как каменная в своей позе на краю тахты. При слове «колония» она даже не вздрогнула.

Но наутро я уже просохла. Мне вдруг стало казаться, что у Петрова это очередной зигзаг, потому что он любит не Надежду и между нами не было ничего плохого, ни ссоры, ни разговора, — ведь это только моя мама с ним поссорилась, а моя мама — это же не я. И когда я шла на

работу, у меня возникла вдруг шальная мысль пойти и поговорить с Надеждой. Но потом я это оставила. Ее можно стронуть с места только хорошим для нее, только заботой о ней и добротой, а что хорошего я могла ей предложить? Только-только она преклонила голову на моего Петрова — и чтобы она подобра ушла от него? Она меня даже не поймет.

Но главное было не это — главное было уговорить Петрова, чтобы он хотя бы фиктивно вернулся к нам. Пусть ходит где хочет, но чтобы Саша его видел. А как это предложить Петрову — ведь сам он на это не пойдет и по моей просьбе — тоже.

Я пошла к Раисе и попросила ее поговорить с Петровым по телефону. Так, мол, и так, что-то тебя давно не видно, зашел бы, поговорили — такой вариант разговора, простой и непритязательный, я ей предложила. Она согласилась. Но она согласилась как-то испуганно. Я, правда, на это не обратила внимания.

Вечером я зашла к Раисе. Она лежала на тахте и курила. Она сказала мне, что поговорила с Петровым. Что он завтра вернется. Вот и все, что она мне сказала, а потом вдруг, по своему обыкновению, начала плакать. Я принесла ей с кухни стакан воды и побежала за Сашей в детский сад.

Назавтра Петров вернулся с портфелем и магнитофоном. В портфеле у него лежали комом две рубашки и носки в газете. У нас было чисто, уютно, мы завтракали втроем. Саша тянулся к газете Петрова и спрашивал, где какая буковка.

Правда, конца зигзагу не было видно. Петров не замечал меня, мало бывал дома. Но это уже было лучше, чем полное отсутствие.

За делами я как-то не успевала заходить к Раисе. И необходимости такой у меня в этом не было. Все поглотил дом. У Петрова скоро должен был решаться вопрос с квартирой. Я бегала записывалась на гарни-тур, стояла в очереди.

Петров уже начал поглядывать на меня вопросительно, смотрел с явным удовольствием, как я летаю из кухни в комнату, как разговариваю с Сашей. Перед ужином Петров ушел, ни слова не говоря, и вернулся с бутылкой полусладкого шампанского.

Он сказал:

— Выпьешь со мной?

И я побежала на кухню за фужерами из чешского стекла.

Мы чокнулись. Я шутливо сказала:

— За Раису. За нашего доброго гения.

А Петров ухмыльнулся и как-то зло сказал, что правильно ребята говорили, она действительно стенка стенкой.

Тут только я обо всем догадалась и пожалела, что Раиса так меня предала.

И она перестала для меня существовать, как будто она умерла.

СВОЙ КРУГ

Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей, все приходит как один, а кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише, сама же Мариша или все разъяренное общество, как не пускали долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас неприкосновенность, он наша гордость и величина, он, например, давно вычислил принцип полета летающих тарелок. Вычислил тут же на обороте тетради для рисования, в которой рисует его гениальная дочь. Я видела эти вычисления, посмотрела совершенно нахально потом, на глазах у всех. Ничего не поняла, белиберда какая-то, искусственные построения, формально взятая мировая точка. Не для моего, короче говоря, понимания, а я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще. Стало быть, ошибся Серж со своей искусственно взятой мировой точкой, причем он же давно не читает литературу, надеется на интуицию, а литературу читать надо. Открыл тут новый принцип работы паровоза с кпд в 70 процентов, опять небывалые вещи. С этим принципом начали его вывозить в свет, туда-сюда, на капичина, к академику Фраму, академику Ливановичу, Ливанович первый опомнился, указал первоисточник, принцип открыт сто лет назад и популярно описан в учебнике на такой-то странице мелким шрифтом для высших заведений, кпд тут же оказался снижен до 36 процентов, результат — фук. Тут все равно ажиотаж, образовали отдел у Ливановича, нашего Сержа ставят завом, причем без степеней. В наших кругах понимающее ликование, Серж серьезно задумался над своею жизнью, те ли ему ценности нужны, решил, что не те. Решил, что лучше останется у себя в Мировом океане, все опять в шоке: бросил карьеру ради воли и свободы, в Мировом океане он простой рядовой младший научный сотрудник, ему там полная свобода и атлантическая экспедиция вот-вот, давно намечающаяся, с заходами в Ванкувер, Бостон, Гонконг и Монреаль. Полгода моря и солнца. Хорошо, выбрал свободу, там, в его кровном дитище с кпд 36 процентов отделе, уже набрали штат, взяли заведующим бездаря кандидата наук, все забито, они начали трудиться не спеша и вразвалочку: то в буфет, то в командировку, то курят. За Сержем ездят консультироваться, вернее, сначала ездили, два раза, Мариша смеялась, что в Мировом океане не знают уже, кого за кого принимать, какого-то Сержа, мэнэса, все время у них из-под носа утаскивают на консультации. Но потом это быстро прекратилось, те вошли в колею, дело ведь не простое, дело не

в принципе, а в иной технологии, ради которой ломать существующее производство, не нужно электричество, все возвращается в век пара, все псу под хвост. Таким образом, вначале вместо прогресса летит к черту вообще все, как всегда. А все это пробивает один отшельник в пять душ, там у нас устроилась лаборанткой одна знакомая, Ленка Марчукайте, приходит приносит утешительные новости, что кандидат наук вот-вот рождает ребенка на стороне, на него готовится письмо тех родителей, на работе он в полной отключке, орет по телефону, а комната одна, и ни о какой энергетике нет слов. Пока готовят проект решения по передаче им опытно-испытательного верстака в подвале института на три часа ночного времени. Но Сержу эта воля и свобода обернулась гораздо хуже, пришло время оформляться с анкетами в экспедицию, он в анкете написал, что беспартийный, а в год поступления в Мировой океан написал в анкете же, что член ВЛКСМ. Обе записи сравнили, выяснилось, что он самостоятельно выбыл из рядов комсомола, даже не встал в Мировом океане на учет в комсомольскую организацию, итого не заплатил членских взносов за много лет, и выяснилось, что это не поправишь ни взносами, ничем, и в океан его не пропустила комиссия. Все это, придя, рассказал тот же Андрей-отщепенец, и его оставили со всеми пить водку, и он в порыве сказал, чтобы ему никто ничего не говорил, он за включение в экспедицию стал стукачом, но стучать обязан только на корабле, на суше он не нанимался. И действительно, Андрей ушел в океан, а пришел оттуда — привез из Японии маленький пластиковый мужской член. Почему же такой маленький? — а потому, что не хватило долларов. А я сказала, что это Андрей привез для дочери. А Серж сидел печальный, хоть ему и дана была полная свобода, весь институт ходил в океан, а он с небольшим составом лаборантов осуществлял отправку, переписку и прием экспедиции в Ленинграде. Однако это было давно и неправда, кончились те дни, когда Серж и Мариша совместно тосковали о Серже и стойко держались, кончились все дни понимания, а наступило черт знает что, но каждую пятницу мы регулярно приходим, как намагниченные, в домик на улице Стулиной и пьем всю ночь. Мы — это Серж с Маришей, хозяева дома, две комнаты, за стеной под звуки магнитофона и взрывы хохота спит стойко воспитанное дитя, дочь Соня, талантливая, своеобразная девочка-красавица, теперь она моя родственница, можете себе представить, но об этом впереди. Моя родственница теперь также и Мариша, и сам Серж, хоть это смешной результат нашей жизни и простое кровосмешение, как выразилась Таня, когда присутствовала на бракосочетании моего мужа Коли с женой Сержа Маришей, — но об этом после.

Значит, вначале было так: Серж с Маришей, их дочь за стеной, я тут сбоку припека, мой муж Коля — верный, преданный друг Сержа; Андрей-стукач сначала с женой, Анютой, потом с разными другими женщинами, потом с постоянной Надей; дальше Жора — еврей наполовину по матери, о чем никто никогда не заикался как о каком-то его пороке,

кроме меня: однажды Мариша, наше божество, решила похвалить невзрачного Жору и сказала, что у Жоры большие глаза — какого же цвета? Все говорили: кто желтые, кто светло-карие, а я сказала — еврейские, и все почему-то смутились, и Андрей, мой вечный недруг, крикнул. А Коля похлопал Жору по плечу. А чего, собственно, я сказала? Я сказала правду. Дальше: с нами всегда была Таня, валькирия метр восемьдесят росту, с длинными белокурыми волосами, очень белыми зубами, которые она маниакально чистила три раза в день по двадцать минут (час — и ваши зубы будут белоснежными), а также с очень большими серо-голубыми глазами, красавица, любимица Сержа, который ее иногда гладил по волосам, очень сильно напившись пьяным, и никто ничего не понимал; и тут же сидела Мариша как ни в чем не бывало, а я сидела тут же и говорила Ленке Марчукайте: «Почему ты не танцуешь, потанцуй с моим мужем Колей», — на что в ответ все грубо хохотало, но это уже был самый закат нашей общей жизни.

Тут же была Ленка Марчукайте, девка очень красивая, бюст пятого размера, волосы длинные русые, экспортный вариант, двадцать лет. Ленка вначале вела себя как аферистка, каковой она и была, работая в магазине грампластинок. Она втерлась Марише в доверие, рассказав ей о своей тяжелой жизни, потом хапнула у нее двадцать рублей и ходила с этим долгом как ни в чем не бывало, потом исчезла, вернулась без четырех передних зубов, отдала двадцать рублей («Вот видите?» — победно сказала Мариша) и сказала, что лежала в больнице, где ее приговорили, что у нее не может быть детей. Мариша еще более ее полюбила, Ленка у нее только что не ночевала, но без зубов это уже было другое, неэкспортное исполнение. Ленка с помощью Сержа устроилась лаборанткой в его 36-процентном отделе, встала себе зубы, вышла замуж за еврейского мальчика-диссидента Олега, который оказался сыном известной косметички Мэри Лазаревны, и в этой богатейшей семье Ленка была некоторое время как бы нашим лазутчиком, со смехом рассказывала, какая у Мэри спальня, какие шкафы, за каждый из которых можно прожить жизнь в долларах, и что Мэри подарила ей еще. Мэри баловала Ленку и говорила, что ее кожа — это естественное богатство. Кожа у Ленки была действительно редкой природной тонкости, белый жир и красная кровь давали небывалое сочетание даже в разное время дня, все равно как закат или восход, а губы у нее вообще были красные как кровь. Такая же кожа бывает сплошь у всех детей, у моего Алешки, например. Но Ленка обращалась с собою пренебрежительно, бегала по разным притонам как вертихвостка, себя не ценила и наконец объявила, что ее Олег уезжает со всеми своими через Вену в Америку, а она не поедет — и не поехала, разошлась с Олегом, стала отличаться тем, что, придя в дом, тут же садилась к кому-нибудь из мужчин на колени и прекрасно себя чувствовала, а бедные наши мальчики, хоть мой Коля, хоть стукач Андрей, криво при этом ухмылялись. Только Сержу она не рисковала садиться на колени, Серж был неприкосновенным, да еще тут

же находилась Мариша, обожаемая Ленкой, и над Маришей смеяться Ленка не могла, как она смеялась над всеми нами и над молодой женой Андрея-стукача, которая вспыхнула и ушла на кухню, когда Ленка плюхнулась на колени к Андрею, ничего при этом не подразумевая. Эта жена Надя была еще моложе Ленки, ей вообще было восемнадцать лет, а дать ей можно было пятнадцать, худая, тонкая, рыжая, испорченная по виду школьница, на это только и мог клюнуть Андрей, который давно был известен благодаря болтливости своей казенной жены Анюты как полный импотент, которому ничего не нужно. Испорченная-то Надя испорченная, но вышла замуж и стала баба бабой, откроет пасть эта нимфетка и поет: то-то она сварила, так-то Андрей пил и она его не пускала больше пить, то-то они купили. Единственное, что при ней осталось от ее испорченности и извращенности, — это выпадающий глаз, который при каких-то неловких движениях выскальзывал из орбиты и вываливался на щеку, как яйцо всмятку. Страшное, должно быть, зрелище, но Андрей с этим носился, возил Надю, держащую глаз на ладони, в больницу, там им этот глаз вправляли, и вот в эту ночь Андрей, я думаю, был на высоте. И с предыдущей, Анютой, Андрей жил ради волнующих моментов ее припадков, когда он возил ее, закутанную в одеяло, в «скорых помощах» из больницы в больницу, пока не выяснилось, что у нее так называемая ядовитая матка. Эта ядовитость Анютиной матки имела хождение в нашем кругу, и на Анюте и Андрея лежала печать обреченности. У всех у нас уже были дети, у Жоры трое, у меня Алеша, и стоило мне не появиться в доме Сержа и Мариши недели две, как по рядам проходила весть, что я рожаю в роддоме: так они шутили над моим телосложением. У Тани был сын, известным тем, что в младенчестве ползал по матери и сосал то одну грудь, то другую, и так они и развлекались. У Андрея же и у Анюты детей быть не могло, и их было жалко, поскольку без детей как-то нелепо жить, и не принято было жить, самый-то эффект заключается в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувствовать себя людьми и загулять на полную мощность, даже вплоть до вызова милиции той, другой стороной улицы Стулиной. У Анюты же и у Андрея была обреченность, пока однажды Анюта вдруг не родила дочь, ни с того ни с сего, почти не изменившись! Ликование было полным, Андрей в ночь родов принес Сержу две бутылки водки, вызвали моего Колю и всю ночь пили, и Андрей сказал, что назовет свою дочь Маришей в честь Мариши, и Мариша была неприятно задета этой честью. Но делать нечего, не запретишь, и прихлебала Андрей назвал дочь Маришей. Но на этом праздник, а также семейная романтика закончились, и Андрей, надо думать, надолго забросил свои супружеские обязанности, а Анюта, наоборот, почувствовала свою обыкновенность, стала, как все женщины, безо всяких припадков, и в связи с этим стала приглашать в течение год продолжавшегося декретного отпуска все новых и новых друзей, и тут Андрей ушел на ролях стукача в плавание, а вернувшись, нашел у себя дома це-

лый рой знакомых, привлеченных, по-видимому, холостым состоянием Анютиной прежде ядовитой матки. Андрей нашел новую романтику в своем положении брошенного мужа, стал романтически приводить к Сержу и Марише отборных девушек, а Ленка Марчукайте нагло садилась ему на колени, как бы припечатывая его уже истощившиеся, сделавшие свое дело детородные органы. Это у нее была такая шутка и издевательство.

Она села как-то на колени и к моему Коле. Коля, худой и добрый, был буквально раздавлен весом Ленки и физически и морально, он не ожидал такого поворота событий и только держал руки подальше и бросал взоры на Маришу, но Мариша резко отвернулась и занялась разговором с Жорой, и вот тут я начала что-то понимать. Я тут начала понимать, что Ленка дала маху, и сказала:

— Лена, ты дала маху. Мариша ревнует тебя к моему мужу.

Ленка же беззаботно скрючила рожу и осталась сидеть на Коле, который совершенно заявил, как сорванный стебелек. Тут, я думаю, началось охлаждение Мариши к Лене, которое и привело к постепенному исчезновению Ленки Марчукайте, особенно когда та в конце концов родила мертвого ребенка, но это уже было потом. А в тот момент все в ответ как-то преувеличенно захлопотали, Таня чокнулась с Сержем, Жора наливал, подал навьюченному Коле и холодной Марише, Андрей галантно заговорил со своей душой Надюшей, которая победоносно смотрела на меня, жену придавленного мужа.

К Жоре Ленка Марчукайте, однако, садиться не рисковала никогда, это было небезопасно, поскольку Жора демонстрировал, как многие маленькие мужчины, постоянное сексуальное возбуждение и любил всех — Маришу, Таню и даже Ленку. Ленка, существо совершенно холодное, рисковала вызвать у Жоры покушение на изнасилование при всех, как это уже было с одной дамой Андрюши, притворявшейся в танце с Жорой жутко темпераментной, а с Жорой этого допускать было нельзя, и Жора, когда кончилась музыка, прямо схватил свою рослую даму за подмышки и поволок в соседнюю комнату как бы в беспамятстве, а в соседней комнате, это было хорошо известно, в эту ночь никто не спал — дочу Мариши и Сержа находилась у бабушки. Жора успел свалить ополоумевшую даму на маленькую кровать Сонечки, но пришли невольно усмехающиеся Серж и Андрей и оттащили Жору, и переполошенная дама одернула задравшееся в ходе борьбы платье. Событие вызвало жуткий смех на всю ночь, но, кроме того, все, кроме посторонней дамы, знали, что тут есть игра, что Жора все играет со студенческих лет в бонвивана и распутника, а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим троим детям, и только по пятницам он набрасывает на себя львиную шкуру и ухаживает за дамами, пока ночь.

Но осторожная Ленка Марчукайте, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызвать Жору на его

привычную роль, это уже было бы слишком, два спектакля, это обязывало к какому-то завершению: Ленка сядет, Жора немедленно начнет лапать и так далее, а этого Ленка не любила, как, в сущности, не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчука была и прошла, как того захотела Мариша, была и исчезла, и когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит как очередная бестактность.

* * *

У меня все как-то перепуталось в памяти в связи с последними событиями в моей жизни, а именно в связи с тем, что я начала слепнуть. Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях, — все это проскочило мимо. Иногда залетали залетные пташки из других, смежных областей человеческой деятельности, как-то повадился ходить на пятницы участковый милиционер Валера, человек, знающий самбо, заносчивый и упрямый. Дверь в квартиру не закрывалась по пятницам, прямо с тротуара три ступеньки — и дверь; он пришел в первый раз, спросил у всех документы в связи с жалобой жильцов противоположного дома на улице Стулиной на превышение шума после одиннадцати часов вечера и вплоть до пяти утра. Валера тщательно проверил у всех документы, вернее, проверил их наличие, потому что ни у кого из мальчиков паспортов не оказалось. У девочек он не проверял, это в дальнейшем навело на мысль, что Валера кого-то искал, всю последующую неделю все оживленно и нервно перезванивались, все были жутко смущены, испуганы и горели огнем. Действительно, в нашу тихую обитель, в которой шумел только магнитофон, ворвалась какая-то опасность, мы оказались в центре событий из-за Валеры и проверки документов. К следующей пятнице все уже точно предполагали, что Валера ищет американского русского Левку, который уже год живет с закончившейся визой, скитаясь по частным квартирам и притонам, причем живет не из желания не возвращаться в Штаты, а просто прогулял срок, за что, ему сказали, по нашим законам полагается отсидка, и тогда он стал скрываться, и его все привлекали с шумом и смехом, а у Мариши я его ни разу не видела, у соседей же Маришиных по дому, подозрительной компании, состоящей из двух вечных студенток без постоянной московской прописки и их разноплеменных сожителей, Левка-американец иногда ночевал на полу и один раз по случайности, как рассказывали студентки, придя за рублем, сломал целку дочери министра Нинке со второго курса факультета журналистики, так что Нинка проснулась вся в крови и потащила в панике отстирывать матрац на кухню, поскольку ванны в квартире не имелось. Левки же американца простыл и след, а Нина не имела претензий

и теперь, говорят, в свою очередь, скиталась по всем притонам в поисках Левки, которому она отдала все, по русскому понятию. С тех пор, говорят, Левка не ночевал на улице Стулиной, и, таким образом, Валера даром приходил.

Однако Валера пришел опять в пять минут двенадцатого, пришел, чтобы выключить магнитофон, магнитофон выключили и сидели пили в тишине, и Валера сидел с непонятными намерениями, то ли он решил все-таки дожидаться Левку, то ли ему просто нужно было извести под корень нашу безобидную компанию, и он просто сидел и не уходил. Мариша, горячо убедившая всех, что все люди интересны — у нее вечно ночевали какие-то подобранные с вокзалов, месяц жила женщина с годовой парализованной девочкой, приехавшая в Институт педиатрии на консультацию без права госпитализации, — Мариша первой нашла ключ и стала вести себя так, что Валера — это несчастный и одинокий человек, в этом доме ведь никому незнакомому не отказывали в приеме, только редко кто решался навязываться. Мариша, а за ней и Серж стали возбужденно разговаривать с Валерой на разные темы, дали ему стакан сухого вина, пододвинули черный хлеб и сыр, единственное, что было на столе, и Валера не увильнул ни от одного вопроса и ни разу не почувствовал никаких уколов самолюбия. Так, например, Серж спросил:

— Ты что, ради прописки в милицию пошел?

— У меня прописка еще раньше, — ответил Валера.

— Ну а чего ты служишь?

— Трудный участок, — ответил Валера, — я знаю самбо, самбист, но из-за травмы плеча не получил второго разряда еще в армии. В самбо, если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал.

— Какой звуковой? — спросила я.

— Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или пернуть, что-бы не сломали руку.

Я тут же спросила, как это можно пернуть по заказу.

Валера ответил, что он не успел подать звуковой сигнал и что ему вынесли руку из предплечья, а так он имеет полный третий разряд. Потом, не переводя дыхания, Валера изложил свою точку зрения на существующий порядок вещей и на то, что скоро все изменится, и все будет как при Сталине, а при Сталине вот был порядок.

Короче говоря, весь вечер у нас прошел в социологических исследованиях образа Валеры, и в конце концов то ли он все-таки оказался находчивей, то ли наша общая роль была пассивной, но вместо обычного анкетирования, как это у нас уже не раз бывало с залетными пташками типа проституток, приводимых Андреем, или с теми, кто, заинтересовавшись музыкой, останавливался под окном на тихой улице Стулиной и завязывал с нами через подоконник разговор и в конце концов влезал в комнату тем же путем и был затем вынужден отвечать на целый ряд вопросов, — на сей раз дело повернулось иначе, и Валера, конкретно не касаясь своих служебных обязанностей, битый час громко поучал нас,

как было при Сталине, и никто особенно ему не противоречил, все боялись, видимо, провокации, боялись высказать перед представителем власти свои взгляды, да и вообще это было у нас не принято — выражать свои взгляды, какое-то мальчишество — орать о своих взглядах, а тем более перед идиотом Валерой, ускользающим, непознанным, с неизвестными намерениями пришедшим и сидящим за бедным круглым столом в бедняцкой комнате Мариши и Сержа.

В двенадцать все, как оплеванные, поднялись и пошли, но не Валера. Валере то ли было негде провести ночь дежурства, то ли у него было четкое задание, но он сидел у Мариши и Сержа до утра, и Серж высказался, и это было потом передано массам через Маришу по телефону, что это самый интересный человек, какого он встречал за последние четыре года, но это у него была защитная формулировка и не более того. Серж целиком принял на себя Валеру, так как Мариша ушла спать на пол в комнату Сонечки, а вот Серж остался, как мужчина, и пил с Валерой чай из зверобоя, целый чайник мочегонного, причем Валера ни разу не отошел в уборную и убрался, только когда кончилось его дежурство по участку. Валера, видимо, не хотел оставить свой НП ни на секунду и совершил мочезадержательный подвиг. Со своей стороны, Серж тоже не отходил, опасаясь в свое отсутствие обыска.

Как бы там ни было, та пятница была пятницей пыток, и мы все сидели не в своей тарелке. Ни Ленка Марчукайте ни разу не уселась на колени ни к кому, тем более к Валере, ни Жора ни разу не крикнул в форточку прохожим школьницам «девственницы», только я все спрашивала, как это самбисты научаются пердеть, усилием воли или специально питаюсь. Мне хватило этой темы на целый вечер, поскольку Валера единственно чего избегал — это именно этой темы. Он как-то морщился, уклонялся от темы, ни разу больше не произнес слова «пернуть» и невзлюбил меня, как все, с первого взгляда и навеки. Но крыть ему было нечем, это слово, видимо, не значится в неопубликованном списке тех слов, за произнесение которых в публичном месте сажают на пятнадцать суток, тем более что Валера сам первый его произнес! И я одна встревала в тот умственный разговор, который с помощью наводящих вопросов затеял Серж, надеясь все-таки вознестись на позиции насмешливого наблюдателя жизненных явлений, за каковое жизненное явление мог бы сойти Валера, но Валера плевать хотел на отеческие вопросы Сержа, а пер напролом и говорил опасные для своего служебного положения вещи насчет того, что в армии многие многое понимают и недолго всем вам тут гулять и что хозяин придет.

— Но все-таки, — встревала я, — это в армии учат пердеть? Но вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя пернуть и не получили разряда.

— В армии такие ребята, такой техсостав, — продолжал Валера, — у них в руках техника, у них в руках все, знающие ребята, и у них есть в голове.

Серж же спрашивал, к примеру, часто ли приходится дежурить ночью и где дали комнатку. Мариша спрашивала, женат ли Валера и есть ли дети, тоном своей обычной доброты и участливости. Таня, наша валькирия и красавица, только тихо ржала и комментировала вполголоса, нагнувшись над стаканом, особенно яркие реплики Валеры, и адресовалась все время к Жоре, как бы поддерживая его в этой трудной ситуации, где он, полуеврей, но чистый еврей по виду, предъявил Валере паспорт (у него единственного был паспорт на этот раз), который Валера вслух зачитал: Георгий Александрович Перевощиков, русский!

Да, в свой второй визит Валера опять спрашивал паспорта и опять проверил паспорт у Сержа и опять не получил паспорт ни у Андрея, ни у моего Коли, ни у случайно забредшего на эту опасную вечеринку постороннего — редко бывавшего в Москве христианина Зильбермана, который был жутко напуган и предъявил вместо паспорта свой старый студенческий билет, по каковому студенческому он вечно получал железнодорожные билеты со скидкой. Валера отобрал у Зильбермана билет, просто положил в карман, и Зильберман смылся, спросив громко, где тут туалет. Валера, хоть и угрожал вначале отвести Зильбермана вплоть до выяснения личности, не сделал вслед ни шагу, а мы все сидели и мучились, как же теперь бедный Зильберман будет бояться и трястись, и к его положению прибавится еще положение находящегося на крючке. Но, видимо, Зильберман не был нужен Валере.

Мне было интересно, как поведет себя стукач Андрей, но Андрей тоже повел себя осторожно и сдержанно. Как только выключили магнитофон, Андрей потерял возможность танцевать с кем ему хотелось, а танцевал он капризно, иногда вообще не танцевал, а его жена Надя, обабившаяся до последней степени, несмотря на свой вид испорченного подростка, сидела в это время тоже как истукан и задним числом ревновала, так вот, Андрей сел рядом со своей Надей. А у Нади отец был полковник на взлете, и все речи Валеры, как младшего состава, Надя воспринимала только сквозь призму того, что на вопрос Сержа, какой ему присвоили все-таки чин, Валера ответил, что многие бы хотели, чтобы не присвоили, а ему присвоили сразу лейтенанта. Надя тут же освоилась одна среди всех, стала ходить взад-вперед, повела Андрея звонить какой-то Ирочке и потом вообще увела Андрея, и Валера никак не отреагировал. Возможно, если бы мы все ушли, он бы все равно остался, здесь была его «точка», а возможно, и нет.

Мы с Колей на сей раз не потратились на такси, а успели после метро на автобус и приехали домой как люди и обнаружили, что Алешка не спит в полвторого ночи, а сидит ослотившийся перед телевизором, экран которого горит впустую. Это было наше первое ночное возвращение с пятницы — не утреннее, — и мы увидели, что Алешка тоже по-своему празднует эту ночь, а он, когда его я укладывала, сказал, что боится спать один и боится гасить свет. Действительно, свет горел везде, а ведь раньше Алешка не боялся, но раньше ведь был дед, а недавно дед умер,

мой отец, а моя мать умерла три месяца перед тем, за одну зиму я потеряла родителей, причем мать умерла от той болезни почек, какая с некоторых пор намечалась и у меня и которая начинается со слепоты. Как бы там ни было, я обнаружила, что Алешка боится спать, когда никого нет дома. Видимо, тени бабушки и дедушки вставали перед ним, мой отец с матерью воспитывали его, баловали его и вообще растили, а теперь Алешка остается один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре умереть, а мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал или неприлично начинал орать на Алешку, когда тот ел вместе с нами, — Коля, видимо, собирался уйти от меня, причем уйти он собирался не к кому другому, как к Марише.

Я уже говорила, что над нашим мирным пятничным гнездом пролетели многие годы, Андрей из златоволосого юного Париса успел стать отцом, брошенным мужем, стукачом на экспедиционном корабле, опять законным мужем и обладателем хорошей кооперативной квартиры, купленной полковником для Надюши, и, наконец, алкоголиком; он все еще любил одну Маришу всю свою жизнь, начиная со студенческих лет, и Мариша это знала и ценила, а все другие дамы на его жизненном пути были просто замещением. И коронным номером Андреевой программы были танцы с Маришей, один-два священных танца в год.

Жора также вырос из охальника-студента в скромного, нищего старшего научного сотрудника в самой дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих детей, этакое будущего академика и лауреата без притязаний, но в нем всегда было и сидело в самом его нутре одно: любовь к Марише, которая любила всегда только Сержа и больше никого.

Далее, мой Коля тоже боготворил и любил Маришу, они все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши, и эта игра все длилась до сих пор, пока не дошла до того, что Серж, которому досталась прекрасная Мариша, жил-жил с ней и вдруг нашел себе любимую женщину, еще со школьной скамьи, и однажды в праздник Нового года, когда все напились и играли в шарady, он сказал: «Пойду позвоню любимой женщине», — и все громом были поражены, ибо если мужчины любили Маришу и считали Сержа единственным человеком, то мы все любили Маришу и Сержа в первую голову, Серж всегда был у всех на устах, хотя сам мало говорил, это его так вознесла Мариша, которая любила его коленопреклоненно, то ли как мать, то ли как сподвижница, благоговела перед каждым его словом и жестом, потому что когда-то в свое время, еще на первом курсе, когда Серж ее полюбил в числе прочих и предлагал ей жениться и спал с ней, она ушла от него, сняла комнату с неким Жаном, поддалась эротическому влечению, отказалась от первой и чистой любви Сержа, а потом Жан ее бросил, и она сама, своей властью пришла к Сержу, теперь уже навеки отказавшись от идеи эротической любви на стороне, сама предложила ему жениться, они женились, и Мариша иногда со свяственным восторгом

проговаривалась, что Серж — это хрустальный стакан. Я бы сказала ей теперь, чтобы она не спала с хрустальным стаканом, все равно не выйдет, а выйдет, так порежешься. Но тогда мы все жили какими-то походами, кострами, пили сухое вино, очень иронизировали надо всем и не касались сферы пола, так как были слишком молоды и не знали, что нас ждет впереди; из сферы пола весь народ волновало только то, что у меня был белый купальник, сквозь который все просвечивало, и народ потешался надо мной как мог; это происходило, когда мы все жили в палатках где-нибудь на берегу моря, и сфера пола проступала также и в том, что Жора жаловался, что нет уборной и что в море дерьмо никак не отплывает. В остальном тот же Жора кричал про отдыхающих женского пола, что им нужен хороший абортарий, а Андрей романтически ходил на танцы за шесть километров в город Симеиз к туберкулезным девушкам, а Серж упорно ловил рыбу с помощью подводной охоты и так осуществлял свою мужественность, а ночами я все слушала, как из их палатки несется мерное постукивание, но Мариша была всю свою жизнь беспокойным существом с огнем в глазах, а это не говорило ничего хорошего о способностях Сержа, а мальчики все были на страме по поводу Мариши и, казалось, хотели бы коллективно возместить пробел, да не могли пробиться. В сущности, этот сексуальный огонь, который пожирал Маришу, жрицу любви, в сочетании с ее же недоступностью, позволял столь долгое время держаться общей компании, поскольку чужая любовь заразительна, это уже проверено. Мы, девочки, любили Сержа и любили вместе с тем и Маришу, переживали за нее и так же, как она, раздираемы были на части, но по-своему — с одной стороны, любить Сержа и мечтать заменить Маришу, с другой стороны — не мочь этого сделать из-за сочувствия Марише, из-за любви и жалости к ней. Короче говоря, все было полно неразделимой любовью Мариши и Сержа, неосуществимостью их любви, и на это клевали все, а Серж бесился, единственный, у кого были все права. Однажды эта язва прорвалась, хоть и не совсем, когда среди безобидных сексуальных разговоров за столом — это были разговоры чистых людей, способных поэтому говорить о чем угодно, — когда речь зашла о книге польского автора «Сексопатология». Это было нечто новое для всего нашего общества, в котором до сих пор каждый жил так, как будто его случай единственный, ни самому посмотреть, ни другим показать. Новая волна просвещения коснулась, однако, и нашего кружка, и я сказала:

— Мне рассказывали про книжку «Сексопатология», и там половой акт разделяется на стадии, супруги возбуждают друг друга, Серж, надо сначала, оказывается, гладить мочку уха партнера! Это эрогенная зона, оказывается!

Все замерли, а Серж сказал тут же, что относится ко мне резко отрицательно, начал брызгать слюной и кричать, а мне что, я сидела как каменная, попавши в точку.

Но это было еще до того, как Серж нашел себе любимую женщину на своей же улице детства, встретил свою юношескую эротическую мечту, теперь полную брюнетку, как донесли некоторые осведомленные лица, и до того, как в квартиру на улице Стулиной стал регулярно приходить милиционер Валера и так бороться за тишину после одиннадцати часов вплоть до семи утра, и также это произошло до того, как я стала постепенно обнаруживать, что слепну, и уже тем более до того, как я нашла, что Мариша ревнует моего Колю к Ленке Марчукайте.

Значит, во мгновение ока развязались все узлы: Серж перестал ночевать дома, отпали все пятницы и начались такие же пятницы в безопасном месте, в комнате валькирии Тани, хотя и при участии ее сына-подростка, ревновавшего мать абсолютно ко всем. Далее подростка изолировали, отправляя его по пятницам вместе с девочкой Сонечкой на улицу Стулиной, по поводу чего я заметила, что детям полезно спать друг с другом, но на меня не обратили внимания, как всегда, а я говорила правду.

Вообще накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами: у Мариши погиб отец, как-то посетивший ее на улице Стулиной и на этой же улице в тот же вечер попавший под автомобиль в неполюбованном месте да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержем перед уходом домой. Все сплелось в этом страшном несчастном случае: то, что отец Мариши хотел по-мужски побеседовать с Сержем, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот происходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома, Серж нежно укладывал Сонечку спать и тогда только уходил к другой, а утром так и так Соня всегда просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы, с шести до девяти, Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки, и вот в этот-то елейный промежуток и внедрил расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой семьей, имел большой печальный опыт и имел нового сына двадцати лет. Маришин отец выпил, безрезультатно наговорил бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной тут же у порога дочернего дома на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в полдесятого.

У меня в тот же период тихо догорела мать, растаяла с восьмидесяти килограммов до двадцати семи, причем умрала она мужественно, всех подбадривала и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришили кишку к брюшине и оставили умирать с незакрывающейся язвой величиной в кулак, и когда нам ее выкатали умершую, испорченную и кое-как зашитую до подбородка и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что

это не моя мама, а моя-то мама где-то в другом месте. Коля не принимал участия во всех этих процедурах, мы ведь были с ним формально разведены уже лет пять назад, только оба не платили за развод, помирившись на простом совместном проживании как у мужа и жены и без претензий, жили вместе, как живут все, а тут он, оказывается, взял и заплатил за развод и после похорон так трезво мне предложил, чтобы и я заплатила — и я заплатила. Потом скончался мой насмерть убитый горем отец, скончался от инфаркта, легко и счастливо, во сне, так что я ночью, встав к Алешке прикрыть его одеялом, увидела, что папа не дышит. Я легла снова, долежала до утра, проводила Алешу в школу, а потом папу в больничный морг.

Но все это было между пятницами, и несколько пятниц я пропустила, а через месяц была Пасха, и я пригласила всех приехать снова, как каждый год, к нам с Колей. Раз в год на Пасху мы все собирались у нас с Колей, я готовила вместе с мамой и папой много еды, потом мама и папа брали Алешку и отправлялись к нам на садовый участок за полтора часа езды, чтобы сжечь палую листву, прибраться в домике и что-то посадить, — и там, в неотопливаемом домике, они и ночевали, давая моим гостям возможность всю ночь есть, пить и гулять. И на этот раз все было так же, и чтобы все было так же, я сказала Алешке, что он поедет один на все тот же садовый участок и переночует там, другого выхода не было, он был уже взрослый, семь лет, дорогу знал прекрасно, и я еще предупредила его, чтобы он ни в коем случае не возвращался и не звонил в дверь. И он отправился, одинокий странник, а мы как раз утром в это воскресенье были с ним на могиле дедушки с бабушкой, он впервые был на кладбище и таскал воду мне в ведре, мы посадили на могилах маргаритки. Он должен был начинать с этих пор новую жизнь, мы пообедали наскоро хлебом с колбасой и чаем — из того, что предполагалось на праздничный стол, и Алеша отправился без отдыха дальше на садовый участок, а я стала делать тесто для пирогов с капустой, больших средств у меня теперь не было. Пирог с капустой, пирог с малиновым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла тертая с майонезом, немного сыра и колбасы — сожрут и так. И бутылка водки. В сущности, я зарабатывала немного, от Коли ждать не приходилось, он чуть ли не вообще переехал жить к своим родителям, а в редкие моменты посещения кричал на Алешу, что тот не так ест, не так икает, не так сидит и роняет крошки на пол и в заключение орал, что тот все время смотрит телевизор и вырастет черт-те чем, не читает ничего, сам не рисует ничего. Этот бессильный крик был криком зависти в адрес Сонечки, которая пела, сочиняла музыку, была в Гнесинской музыкальной школе, куда конкурс один к тремстам, много читала с двух лет и сама писала стихи и сказки. В конечном итоге Коля любил Алешу, но он бы его любил гораздо больше, если бы ребенок был талантливый и краси-

вый, блестящий в учебе и сильный в отношениях с товарищами. Тогда бы Коля любил его гораздо больше, а так он видел в нем себя самого и бесился, особенно бесился, когда Алеша ел. У Алеши были плоховатые зубы, в семь лет еще не выросшие как следует впереди, Алеша еще не освоился со своим сиротством после дедушки с бабушкой и ел рассеяннo, большими кусками и не жуя, роняя на штаны капли и крошки, беспрестанно все проливал и в довершение начал мочиться в постель. Коля, я думаю, вылетел как пробка из нашего семейного гнезда, чтобы не видеть своего облитого мочой сына, на тонких ногах дрожащего в мокрых трусах. Когда Коля в первый раз застал, проснувшись от Алешиного плача, это безобразие, он саданул Алешу прямо по щеке ладонью, и Алеша легко покатился обратно на свою мокрую, кислую постель, но он не очень плакал, поскольку чувствовал даже облегчение, что вот его наказали. Я только усмехнулась и вышла вон и пошла на работу, оставив их расхлебывать. В этот день у меня было исследование глазного дна, которое показало начинающуюся наследственную болезнь, от которой умерла мама. Вернее, доктор не сказала окончательного диагноза, но капли прописала те самые, мамины, и назначила те же самые анализы. Все начиналось теперь у меня, такие были дела, до того ли мне было, что Алеша мочится в постель и что Коля его ударил? Предо мной открылись новые горизонты, не скажу какие, и я начала принимать свои меры. Коля ушел, я вернулась домой и не застала Колиных носильных вещей, остальное все он благородно оставил, надо ему отдать справедливость, и вот наступила Пасха, я испекла пироги, раздвинула стол, застелила его скатертью, расставила тарелки, рюмки, салаты, колбасу и сыр, хлеб, было даже немного яблок, матeрина подруга подарила, принесла кулек редких по весеннему времени яблок и крашенных яиц, и я отнесла часть на кладбище, покрошила птицам на дощечку, и мы с Алешей тоже поели. Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали, у нас еще сохранились эти традиции пасхальных пикников на кладбищах, когда кажется, что все обошлось в конце концов хорошо, покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки, воздух свежий, птицы, никто не забыт и ничто не забыто, и у всех так же будет, все пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашеными яйцами прямо в земле. Алеша, мне кажется, поборол свой страх, сажал со мной рассаду маргариток все смелей и смелей в этой земле, почва у нас в Люблине чистая и песчаная, родителей я сожгла, только кубки с пеплом стояли в глубине, ничего страшного, все позади, и Алеша бегал и поливал, а потом мы сходили помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки, а остатки разложили и покрошили, как это делали на других, соседних могилах многочисленные посетители. И когда мы ехали домой, в автобусе и метро все хоть и были

под банкой, но какие-то дружные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело.

Так что вечером этого дня, одна и свободная, я дождалась слегка смущенных своих ежегодных гостей, которые явились все как один, потому что Мариша не могла не прийти, она очень смелая женщина и благородных кровей, а остальные пришли благодаря ей, и Серж был тут же, и мой бывший теперь уже муж Коля точно с такими же, как у Алеши, разрушенными зубами, Коля пришел и отправился на кухню разгружать все, что они принесли, а принесли они уже сваренную картошку с укропом и огурцы, а также много вина с перспективой на всю ночь. А почему бы им было и не погулять, когда пустая чужая квартира и есть еще щекотливое обстоятельство, то есть как я восприму приход моих новобратных родственников Коли и Мариши, поскольку они только что вчера расписались, так все и было, и тут же был Серж, немножко более нетерпеливый, чем обычно, к выпивке, они с Жорой тут же пошли обмывать все происшедшее, Ленки Марчукайте давно не было и в помине, говорят, она ходила где-то с затянутой теплым платком грудью, кто-то ее видел в метро после рождения мертвого ребенка, она не жаловалась, только пожаловалась, что молоко пришло. Так вот, Андрей-стукач поставил пластинку, Надя, его малолетняя, стала изображать из себя опять семейную бабу и рассказала мне, сколько алиментов платит Андрей и что ему бесполезно даже писать диссертацию, так все и уйдет на алименты, а когда они кончатся? Через четырнадцать лет, когда Наде стукнет тридцать три года, и только тогда можно будет родить ребенка уже своего. Вошла Таня-валькирия, радостно сверкая зубами и глазами, и я ее спросила, вместе ли положили Сонечку и ее мальчика, вместе им будет удобнее, а Таня в ответ на это, как всегда, тихо заржала, показав еще больше свои большие-пребольшие зубы, а Мариша, наоборот, не в пример прошлым годам обозлилась, когда я спросила:

— А чем они там занимаются?

— Вот тем и занимаются,— ответила радостная Таня.

— Тебе хорошо, у тебя мальчик, а Марише хуже, Мариша, ты уже научила Сонечку предохраняться?

— Не беспокойся, научила,— ответила Мариша и присоединилась к тихому ржанию Тани, хотя я, по своему обыкновению, сказала истинную правду.

— А что такое? — спросила Надя, у которой один глаз вот-вот готов был выскочить из орбиты.

— Надя,— сказала я,— это правда, что у тебя один глаз вставной?

— Она всегда такая,— сказала сияющая Таня бедной Наде, а тут вставил свое слово Андрей-стукач:

— Я к тебе отношусь резко отрицательно! — заявил он, вспомнив формулировку Сержа, но я не обратила внимания на Андрея-стукача.

Пришли из кухни Серж с Жорой, уже поддатые, а мой Коля явился из бывшей нашей спальни, не знаю, что уж он там делал.

— Коля, ты уже отобрал себе простыни получше? — спросила я и поняла, что попала в самую точку. Коля покачал головой и покрутил пальцем у виска, благодаря чему в это свое посещение он не взял ни одной штуки постельного белья, спасибо моей проницательности.

— Мариша, тебе есть на чем спать с моим мужем? Ты ведь часть простынь выделила Сержу, я понимаю. А у меня все простыни застиранные, прошлый раз Коля первый раз в жизни собрался стирать белье и бросил его в кипяток, и все пятна на простынях, весь белок заварил, теперь они проступают в виде облаков.

Тут все они засмеялись дружным, довольным смехом и сели за стол. Моя роль была сыграна, дальше сыграл свою роль Серж, который косноязычно, туманно и гнусаво стал спорить с Жорой об общей теории поля некоего Рябикина, причем Серж яростно нападал на Рябикина, а Жора его снисходительно защищал, а потом якобы неохотно сдался и согласился, и в Серже впервые проступил неудачливый, непроявившийся ученый, а в затырканном Жоре впервые проявилось восходящее светило науки, ибо ничто так не выдает личного успеха, как снисходительность к собратьям.

— Ты, Жора, когда докторскую защищаешь? — спросила я его наугад, а Жора клянул и немедленно ответил, что во вторник предзащита, а защита — когда подойдет очередь.

Все на мгновение приумолкли, а потом стали пить. Пили все до полного затмения. Андрей-стукач вдруг стал жаловаться на райисполком, который не разрешает им трехкомнатную на двоих, а Надин папа стал генералом и бшует, валит Наде подарок за подарком, и машина ей уже на мази, и трехкомнатный кооператив, только бы Наде поступить учиться, а не рожать ребенка.

— А я хочу рожать, — сказала Надя упрямо, но никто не поддержал темы.

Короче говоря, разговор за столом не клеился, Коля с Маришей тихо переговаривались, я знаю о чем — о том, чтобы он забрал прямо сейчас свои остальные вещи и куда надо будет эти вещи сложить, пока идет обмен Маришиной квартиры на комнату для Сержа и малогабаритную двухкомнатную квартиру, чтобы Сонечке было где отдельно заниматься музыкой на скрипке, а Сержу было бы где жить с брюнеткой, а моему мужу было бы где жить с Маришей. А может быть, они шептались о том, что лучше отдать мне их двухкомнатную, а самим поселиться в моей трехкомнатной квартире и начать размен.

— Мариша, тебе понравилось в моей квартире? — спросила я. — Может быть, вы поселитесь здесь, а мы с Алешей будем жить где скажете? Нам с Алешей много не нужно, и вещи берите.

— Дура, — сказал Андрей громко, — набитая дура! Мариша только и думает, чтобы ничего у нее не забирать, дура!

— Но почему же, берите! — сказала я. — Мне одной много не надо, а Алеша ведь идет в детский дом, я уже устраиваю и хлопочу. В город Боровск.

— Пряма, — сказал Коля, — еще чего.

— Пошли-ка отсюда, этот спектакль выдерживать... — сказал Андрей-стукач и даже стал решительно подниматься вкуче со своей Надей, но остальные не шелохнулись, им важно было довершить суд до конца.

— Я устраиваю в детдом, вот анкета, — сказала я и, не вставая, достала из-за стекла книжной полки анкету и заполненные бланки.

Коля их взял посмотреть и порвал.

— Наглая же дура, — сказал Андрей.

Я откинулась на стуле:

— Пейте, ешьте, сейчас принесу пироги с вареньем и капустой.

— Ладно, — сказал Серж, и они стали снова пить, Андрей поставил пластинку, а Серж подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать. Мариша вспыхнула, как приятно было видеть ее вороватый взгляд, направленный в мою сторону, почему-то именно в мою! Вот я уже и стала мерилом совести, бормотала я, ставя на стол пирог с капустой.

Тут все завертелось, осуществился праздник их любви, все дружно орали, пели, как им было весело, а Коля, оставшись не у дел, подошел ко мне и спросил: а где Алеша?

— Не знаю, гуляет, — сказала я.

— Так уже первый час ночи! — сказал Коля и пошел в прихожую.

Я ему не мешала, но он не стал одеваться, а по дороге завернул в уборную и там надолго затих, а в это время Марише стало плохо, она перепила и не нашла ничего лучшего, как вывеситься в окно кухни и сблевать свеклой прямо на стену, как это выяснилось на следующий же день из слов пришедшего техника-смотрителя дома.

Пироги, окурки, разграбленные салаты, огрызки и половинки яблок, бутылки под диваном, Надя, которая навзрыд плакала и держалась за глаз, и Андрей, который держал на руках Маришу и танцевал с ней — это был тот самый знаменитый один акт в год, который они совершали после того, как Мариша выдала меню на мой дом, а Надя видела это первый раз в жизни и была этим делом испугана до потери глаза.

Потом Андрей собрался и строго собрал Надю, дело шло к закрытию метро, Серж и Жора дружно одевались, Коля вышел из уборной и, плохо соображая, лег на диван, но его поднял Жора и повел, сзади ше-

ствовала радостная Таня, и я наконец открыла дверь им всем, и они все увидели Алешу, который спал, сидя на ступеньках.

Я выскочила, подняла его и с диким криком: «Ты что, ты где!» — ударила по лицу, так что у ребенка полилась из носа кровь, и он, еще не проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его по чему попало, на меня набросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули, и кто-то еще долго держал дверь, пока я колотилась, и были слышны что-то рыдания и крик Нади:

— Да я ее своими руками! Господи! Гадина!

И кричал, спускаясь по лестнице, Коля:

— Алешка! Алешка! Все! Я забираю! Все! К едреней матери куда угодно! Только не здесь! Мразь такая!

Я заперлась на засов. Мой расчет был верным. Они все как один не могли видеть детской крови, они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребенок, дети для них святое дело.

Я прокралась на кухню и выглянула в окно, поверх полузатертой Маришиной блевотины. Мне недолго было ждать. Вся компания вывалилась из парадного. Коля нес Алешу! Это было триумфальное всеобщее шествие. Все возбужденно переговаривались и ждали еще кого-то. Последним вышел Андрей, стало быть, это он держал дверь. Когда он вышел, последний прикрывавший фланги, Надя выкрикнула ему на встречу: «Лишение материнства, вот что!» Все были в ударе. Мариша хлопотала с носовым платком над Алешей. Пьяные голоса разносились далеко по округе. Они даже поймали такси! Коля с Алешей и поддерживающая их Мариша, спотыкаясь, влезли на заднее сиденье, спереди сел Жора. Жора, видимо, будет платить, подумала я, как всегда, точно, и Жоре это по дороге, он так и так всегда ездит на такси. Ничего, доберутся.

В суд они не подадут, не такие люди. Алешку будут прятать от меня. Его окружают вниманием. Дольше всех романтически будут любить Алешку Андрей-стукач и его бездетная жена. Таня будет брать Алешку на лето к морю. Коля, взявший Алешу на руки, уже не тот Коля, который ударил семилетнего ребенка плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького, гнилозубого Алешу, не проявляющего талантов даже в малой степени. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот и средств и, глядишь, устроит Алешу в институт. Другое дело Серж, человек в целом малоромантический, человек сухой, циничный и недоверчивый, но этот кончит сожительство с единственным по-настоящему любимым им существом, с Сонечкой, сумасшедшая любовь к которой ведет его по жизни углями, закоулками и темными подвалами, пока он не осознает ее полностью, не бросит всех женщин и не будет жить ради одной-единственной, которую сам породил. Такие случаи также бывали и бывают. Вот

это будет заваyka и занятие для маленькой толпы моих друзей, но это будет не скоро, через восемь лет, а Алеша за эти годы успеет набрать сил, ума и всего, что необходимо. Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. Но я просто, отправив его на садовый участок, не дала ему ключ от садового домика, и он вынужден был вернуться, а стучать в дверь я ему запретила, я его уже научила в его годы понимать запреты. И вот вся дешево доставшаяся сцена с избиением младенцев дала толчок длинной новой романтической традиции в жизни моего сироты Алеши с его благородными новыми приемными родителями, которые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так я все рассчитала, и так оно и будет. И еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Алеши в квартире, у него в доме, а не он у них, это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправляюсь по дороге предков. Алеша, я думаю, придет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сознательный мальчик, и там, среди крашенных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше — для всех. Я умная, я понимаю.

БЕДНОЕ СЕРДЦЕ ПАНИ

Я родила своего ребенка довольно-таки поздно, перед этим долго лежала в так называемой патологии, среди женщин, которым предстояли какие-то затруднения, и, кстати, я оказалась не самой старородящей, там была уже совсем пожилая женщина сорока семи лет, ее все звали баба Паня и слегка над ней потешались, над ее манерой говорить по-научному «пойду выделю мочу». Баба Паня была почти неграмотной чернорабочей, морщинистой, с узенькими хитрыми глазками женщиной, и все время ходила по нашему короткому коридорчику вдоль палат, и ждала и ждала своего часа, как мы все его ждали. Но она ждала, как оказалось, совсем не того, что все мы, брюхатые, стонущие бабы, из которых многие пролежали по семь месяцев неподвижно, только чтобы родить ребенка. Под окнами браво кричали навещающие, мы лежали на втором этаже и при открытой форточке лежали и слушали, как кричат. У одной женщины моего возраста опять ничего не получилось, в какой уже раз, ее увели, все думали, что вдруг обойдется, но под окнами вечером раздался пьяный крик: «Сволочь, сука... паразитка... Ты мне загубила жизнь, ах ты сука, что я с тобой связался...» Это кричал ее несчастный муж, который узнал, узнали и мы, что она опять родила мертвого.

Ну так вот, а баба Паня была вылеплена совсем из другого теста и ждала совсем не того, что мы. Она ходила со своим отвислым животом и ждала, как обнаружилось в дальнейшем, что ей по ее медицинским показаниям, в ее уже огромные сроки сделают аборт, для этого она здесь и находилась — уже довольно долго. Она объясняла, что муж у нее лежит уже полгода с радикулитом, он плотник на строительстве, что-то поднял. У них трое детей, и у нее самой был год назад инфаркт: дали большую инвалидность — второй группы. Что же ты тянула, воскликнули бы все, но никто не воскликнул, потому что знали, что ей сначала поставили другой диагноз — опухоль, и опухоль все росла и росла, пока не начала шевелиться и дрыгать ножками, тогда-то баба Паня, проплутав по районному и областному горздраву, направилась с пачкой бумажек искать правду в министерство в Москву и добилась своего, упорная душа, потому что действительно она могла при своем сердце умереть от родов и оставить троих детей сиротами. Она долго ходила по разным инстанциям, а живот все рос, уже набиралось что-то шесть месяцев или около того, и наконец ее положили в тот научно-исследовательский институт, где пребывали все мы в ожидании решения своей судьбы. Баба Паня попала к хорошему врачу Володе, который только что спас жизнь одному задохнувшемуся в лоне матери ребенку, девочке. Он высосал ртом слизь, забившую все дыхательные пути, и ребенок через две минуты после рождения закричал — такие легенды ходили о Володе, и везде его бегала-искала по коридорам мать этой девочки, чтобы вручить ему дорогую зажигалку, но не добилась ничего и с тем выписалась. И еще ходила легенда, что его собственная мать умерла родами, и Волода поклялся, что будет врачом-акушером, и стал им по призванию. И тем больше было у всех недоумение и ненависть в адрес ни в чем не повинной бабы Пани, что Володя не торопился делать ей аборт, а все ходил к ней в палату, мерял давление, проверял анализы, а баба Паня все ждала, и уже человека, что ли, собрались убивать все эти врачи, человека на седьмом месяце, но баба Паня твердо ждала и знать ничего не хотела; у нее было направление министерства, а дома ее ждали дети и неходячий муж в домике-засыпушке на далеком строительстве ГРЭС. Баба Паня строила ГРЭС, оказывается, вернее, была сторожикой и инвалидом, и на какие деньги все эти люди жили, неизвестно.

Шло время, проходили недели, я наконец убралась из отделения патологии и перекочевала в палату родильниц, мне наконец принесли мое дитя, и все муки как будто кончились, как вдруг у меня началась горячка и вскочил нарыв на локте. Тут же меня препроводили через двор в инфекционное отделение, я переправлялась по зимней погоде в чьих-то резиновых сапогах на босу ногу, в трех байковых халатах поверх рубашки и в полотенце на голове, как каторжница, а сзади несли завернутого в казенное одеяло ребенка, которого тоже выселили, ибо

и он заболел. Я шла, обливаясь бессильными слезами, меня вели с температурой в какой-то чумной барак и разъединяли с ребенком, которого я уже начала кормить, а ведь известно, что если мать хоть один раз покормила ребенка, то все, она уже навеки связана по рукам и ногам и отобрать у нее дитя нельзя, она может умереть. Такие связи связывали меня, идущую в казенных сапогах на босу ногу, и моего ребенка, которого несли за моей спиной в сером одеяле, накрыв с головой, а он молчал под покрывкой и не шевелился, словно замерев. В чумном бараке его унесли очень быстро, а мои мучения продолжались теперь в палате, где лежали инфекционные больные то ли с нарывами, то ли с температурой, и где лежала уже и тетя Паня, опроставшаяся, пустая, и принимала огромное количество лекарств и от сердца, и от заражения крови, поскольку ей уже сделали аборт, разрезали живот, но шов загноился: все в том научно-исследовательском институте, видимо, было заражено. Но тетя Паня, убийца, сама теперь была на грани смерти и теперь выкарабкивалась с трудом, а родильный дом закрывали на ремонт из-за страшной стафилококковой инфекции. Больные говорили, что сжечь его надо, сжечь, да что толку в разговорах.

Я плакала все дни, мне нужно было сцеживать молоко, чтобы оно не пропало, но руки были заразные, а ходить нас не выпускали в коридор, умыться я не могла. Я боялась заразить молоко и просила хотя бы спирту протереть руки, раза три сестра мне приносила ватки, а потом бросила, спирту на руки не напасешься. Тетя Паня молчаливо слушала, как я рыдаю со своими грязными руками, у нее были собственные дела для размышлений, у нее была высокая температура, которая не снижалась, и наконец пришел доктор Володя, убийца. Он положил руку на лоб тети Пани, осмотрел ее шов и вдруг велел принести лед: у тети Пани пришло молоко для ее убитого ребенка, в этом и была причина температуры.

Наконец настало время, мои муки кончились, и после долгих переговоров мне принесли ребенка, который за неделю разлуки разучился сосать. Жалкий, худой, прозрачный, он ничего не мог поделывать, раскрывал и закрывал рот, а я плакала над ним, пока он кричал.

А убийца тетя Паня начала вставать и ходить, держась за стенку, потому что у нее речь зашла о выписке. Она объяснила, что тренируется, от станции до стройки пешком двенадцать километров, но ее выписали через два дня, не вникая в подробности, и она ушла своим ходом, как могла, на вокзал.

А мой ребенок окреп, начал бойко сосать, и через два дня мы должны были выходить на божий свет из чумного барака, как вдруг случилось происшествие. В палату привели новую пациентку — высокая температура, неизвестный диагноз. Привели и положили в опустевшую палату, где торчала одна только я, ожидая очередного кормления. Моя новая соседка сильно кашляла, на вопросы не отвечала, и я тут же энергично отправилась к дежурной детской сестре и заявила, что туда, где

больной человек, нельзя приносить ребенка и т. д. Хорошо, приносить перестали, но теперь я уже знала, где он лежит, где его детская, и стояла под дверью, а он кричал криком. Он был один в детской, как я была одна в своей палате, каждой палате соответствовала своя детская, и я теперь знала, что этот одинокий визг есть визг моего голодного ребенка, и стояла под дверью.

И вдруг добрая медсестра сжалилась надо мной, дала мне белый халат, шапочку и марлевую маску и ввела в детскую кормить. Я села в угол кормить моего дорогого ребенка, он тут же успокоился, а я стала разглядывать детскую. Это была белая, чистая комнатка с четырьмя отделениями, в каждом из которых стояло по кроватке, по числу коек во взрослой палате.

Все кровати пустовали — у новой пришелицы с температурой еще никто не родился, и только под стеной стоял инкубатор, мощное сооружение, накрытое прозрачным колпаком, и в инкубаторе лежало маленькое дитя, тихо спало, смеживши глазки, совсем как большое. Я кормила своего, любила своего, но дикая жалость к чужому существу вдруг пронзила меня.

Это явно была девочка, аккуратные ушки, спокойное, милое лицо величиной с некрупное яблоко — мальчишки рождаются аляповатыми, я уже нагляделась, и только девочки появляются на свет в таком аккуратном, изящном виде.

У вошедшей сестры я спросила: «Девочка?» — и она кивнула и с любовью сказала: «Она у нас уже из пипетки пьет».

Я вернулась в палату, пошли часы кормлений, на следующий день мы с ребенком вымелись из этой больницы прочь, на волю, а меня все мучает вопрос: а не дочь ли тети Пани лежала там, в инкубаторе? Ведь это была детская нашей палаты, и доктор Володя почему так тянул с тетей Паней — уж не хотел ли этот мученик науки дорастить ребенка хотя бы до семи месяцев, до правильного развития?

Все эти вопросы терзают меня, забивают мне голову, и жалкая тетя Паня в который раз на моих глазах пробирается по стеночке, тренируясь, чтобы идти домой, и все видится мне доктор Володя, положивший ей руку на лоб, но как не вяжется тетя Паня с тем существом, которое так мирно спало тогда под крышкой инкубатора, завернутое в розовую пеленку, так тихо дышало, закрыв глаза, и так пронизывало все сердца, кроме бедного сердца тети Пани, сторожили и инвалида.

ЧЕРЕЗ ПОЛЯ

Я не встречала его больше никогда, когда-то мы с ним один-единственный раз в жизни ехали вместе к кому-то на далекую дачу, в рабочий поселок; идти надо было километра четыре по лесу, а потом по голому

полю, которое, может, и красиво в любое время года, но в тот день оно было ужасно, мы стояли на краю леса и не решались выйти на открытое пространство, такая гроза. Молнии били в глинистую почву дороги, поле было какое-то совершенно голое; помню те же глинистые увалы, голая, абсолютно голая разбитая земля, ливень и молнии. Может быть, на этом поле было что-то посажено, но к тому моменту не выросло пока что ничего, ноги разрезались, ломались, коржились в этом вздыбленном голом поле, поскольку мы решили выбрать более короткий путь и идти напрямик. Дорога шла в гору, а мы жутко хохотали, почему-то пригибаясь. Он обычно молчал, сколько я его помнила до этого по общим такого рода мероприятиям, всяким дням рождения, поездкам и так далее. Тогда я еще не знала цену молчанию, не ценила молчание и всячески пыталась вызвать Вовика на откровенность, тем более что мы одни ехали полтора часа в поезде, одни среди чужих, и молчать было неудобно и как-то стыдно. Он посматривал на меня своими небольшими добрыми глазками, усмехался и почти ничего не отвечал. Но это все было ничего, можно было бы пережить, если бы не ливень, который встретил нас на станции! Моя голова, чисто вымытые и завитые волосы, накрашенные ресницы — все пошло прахом, все, мое легкое платье и сумочка, которая впоследствии съезжилась и посерела, — вообще все. Вовик глуповато улыбался, втягивал голову в плечи, поднял воротник беленькой рубашки, на его худом носу сразу повисла капля, но делать было нечего, мы почему-то побрели под дождем по глине, он знал дорогу, а я нет, он сказал, что напрямик близко, и вот мы вышли на это проклятое поле, по которому гуляли молнии, выскакивая то рядом, то подальше, и попрыгали по валам глинистой земли, причем не сняли туфли, видимо, стеснялись друг друга, не знаю. Я стеснялась тогда всяких проявлений естества и больше всего своих босых ног, которые мне казались воплощением безобразия на земле. Впоследствии я встречала женщин, убежденных в том же самом, никогда не ходивших босыми, особенно при любимом человеке. Одна даже настолько мучилась, выйдя замуж, что заслужила замечание мужа: какие некрасивые, оказывается, у тебя ноги! Другие же не мучились ничем, ни кривым, ни волосатым, ни длинным, ни лысым — ничем. Они-то и оказались правы, а тогда, в тот день, мы шли на проклятых подошвах, оскальзываясь, на волоске от смерти, и веселились. Нам было по двадцать лет. Он как-то робко, добродушно взглядывал, шел на расстоянии от меня метрах в полутора: впоследствии я узнала, что молния может убить двоих, если они идут вместе. Но он не подал мне руку не из робости, в тот день на даче его ждала невеста, и он не подал мне руку от юношеского усердия служить своей любви и только ей. Но смеялись мы страшно, качались на этих

земляных валах, облепленные глиной, как-то спелись. Четыре километра по глине, под дождем удивительно долго тянулись: есть такие часы в жизни, которые очень трудно переживать и которые тянутся бесконечно долго, например, каторжная работа, внезапное одиночество или бег на большие дистанции. Мы пережили эти четыре километра вместе. Под конец, у крыльца, он даже помог мне взобраться на ступеньку, и мы, хохоча, под удивленный смех собравшихся и под сдавленный возглас невесты вошли в теплый дом. Все пошло к черту — его и мой костюмы, наши туфли, волосы, у него под носом так и висела капля, но родней человека, чем он, у меня не было никого. Туманно я догадывалась, что мне повезло встретить на жизненном пути очень хорошего и верного человека, сокровища его души вкупе с каплей под носом трогали меня до слез, я была растеряна, не знала что делать. Нас развели по комнатам этого пустого летнего домика, пыльного, еще не обжитого дачниками, меня переодели, его тоже, нас вывели и дали по полстакана водки — чудо! За столом он изредка взглядывал в мою сторону, глуповато улыбаясь, шмыгая носом, грел руки о кружку с чаем. Я знала, что все это не мое и никогда не будет мое, это чудо доброты, чистоты и чего угодно, вплоть до красоты. Им завладел его друг, они принялись играть в шахматы, его ждала и невеста, а я не ждала, а грелась душой после долгого и трудного жизненного пути, сознавая, что завтра и даже сегодня меня оторвут от тепла и света и швырнут опять одну идти по глинистому полю, под дождем, и это и есть жизнь, и надо укрепиться, поскольку всем приходится так же, как мне, и Вовику в том числе, и бедной Вовиковой невесте, потому что человек светит только одному человеку один раз в жизни, и это все.

ГИГИЕНА

Однажды в квартире семейства Р. раздался звонок, и маленькая девочка побежала открывать. За дверью стоял молодой человек, который на свету оказался каким-то больным, с тонкой, блестящей розовой кожей на лице. Он сказал, что пришел предупредить о грозящей опасности. Что вроде бы в городе началась эпидемия вирусного заболевания, от которого смерть наступает за три дня, причем человека вздувает и так далее. Симптомом является появление отдельных волдырей или просто бугров. Есть надежда остаться в живых, если строго соблюдать правила личной гигиены, не выходить из квартиры и если нет мышей, поскольку мыши — главный источник заражения, как всегда.

Молодого человека слушали бабушка с дедушкой, маленькая девочка и ее отец. Мать была в ванной.

— Я переболел этой болезнью,— сказал молодой человек и снял шляпу, под которой был совершенно голый розовый череп, покрытый тончайшей, как пленка на закипающем молоке, кожей.— Мне удалось спастись, я не боюсь повторного заболевания и хожу по домам, ношу хлеб и запасы, если у кого нет. У вас есть запасы? Давайте деньги, я схожу, и сумку побольше, если есть — на колесиках. В магазинах уже большие очереди, но я не боюсь заразы.

— Спасибо,— сказал дедушка,— нам не надо.

— В случае заболевания всех членов семьи оставьте двери открытыми. Я выбрал себе то, что по силам, четыре шестнадцатиэтажных дома. Тот из вас, кто спасется, может так же, как я, помогать людям, спускать трупы и так далее.

— Что значит спускать трупы?— спросил дедушка.

— Я разработал систему эвакуации трупов путем сбрасывания их на улицу. Понадобятся полиэтиленовые мешки больших размеров, вот не знаю, где их взять. Промышленность выпускает двойную пленку, ее можно приспособить, но где взять деньги, все упирается в деньги. Эту пленку можно резать горячим ножом, автоматически сваривается мешок любой длины. Горячий нож и двойная пленка.

— Нет, спасибо, нам не надо,— сказал дедушка.

Молодой человек пошел дальше по квартирам, как попрошайка, просить денег; как только захлопнули за ним дверь, он звонил уже у соседних дверей, и там ему открыли на цепочку, так что он вынужден был рассказывать свою версию и снимать шляпу на лестнице, в то время как его наблюдали в щель. Слышно было, что ему кратко ответили что-то и захлопнули дверь, но он все не уходил, не слышно было шагов. Потом дверь опять открылась на цепочку, кто-то еще желал послушать рассказ. Рассказ повторился. В ответ раздался голос соседа:

— Если есть деньги, сбегай принеси десять поллитровок, деньги отдам.

Послышались шаги, и все утихло.

— Когда он придет,— сказала бабушка,— пусть уж нам принесет хлеба и сгущенки... и яиц. Потом надо капусты и картошки.

— Шарлатан,— сказал дедушка,— хотя не похож на обожженного, это что-то другое.

Наконец встрепенулся отец, взял маленькую девочку за руку и повел ее вон из прихожей — это были не его родители, а жены, и он не особенно поддерживал их во всем, что бы они ни говорили. Они тоже его не спрашивали. По его мнению, что-то действительно начиналось, не могло не начаться, он чувствовал это уже давно и ждал. Его охватила какая-то оторопь. Он взял девочку за руку и повел ее вон из прихожей, чтобы она не торчала там, когда таинственный гость постучит в следу-

ющую квартиру: надо было с ним как следует потолковать как мужик с мужиком — чем он лечился, какие были обстоятельства.

Бабушка с дедушкой, однако, остались в прихожей, потому что они слышали, что лифта никто не вызвал и, стало быть, тот человек пошел дальше по этажу; видимо, он собирал деньги и сумки сразу, чтобы не бесконечно бегать в магазин. Или ему еще никто не дал ни денег, ни сумок, иначе он уже бы давно уехал вниз на лифте, ибо к шестому этажу должно было набраться поручений. Или же он действительно был шарлатан и собирал деньги просто так, для себя, как уже однажды в своей жизни бабушка напоролась на женщину, которая вот так, сквозь щелочку, сказала ей, что она из второго подъезда, а там умерла женщина шестидесяти девяти лет, баба Ньюра, и она по списку собирает ей на похороны, кто сколько даст, и предъявила бабушке список, где стояли росписи и суммы — тридцать копеек, рубль, два рубля. Бабушка вынесла рубль, хотя тети Ньюры так и не вспомнила, и немудрено, потому что пять минут спустя позвонила в дверь хорошая соседка и сказала, что это ходит неизвестная никому аферистка, а с ней двое мужиков, они ждали ее на втором этаже, и они только что с деньгами скрылись из подъезда, список бросили.

Бабушка с дедушкой стояли в прихожей и ждали, потом пришел отец девочки Николай и тоже стал прислушиваться, наконец вышла из ванной Елена, его жена, и громко стала спрашивать, что такое, но ее остановили.

Однако звонков больше не раздавалось на лестнице. То есть ездил лифт туда-сюда, даже выходили из него на их этаже, но потом гремели ключами и хлопали дверьми. Но все это был не тот человек в шляпе. Он бы позвонил, а не открывал бы дверь своим ключом.

Николай включил телевизор, поужинали, причем Николай очень много ел, в том числе и хлеб, и дедушка не удержался и сделал ему замечание, что ужин отдай врагу, а Елена заступилась за мужа, а девочка сказала: «Что вы орете», — и жизнь потекла своим чередом.

Ночью внизу, судя по звуку, разбили очень большое стекло.

— Витрина булочной, — сказал дедушка, выйдя на балкон. — Бегите, Коля, запасайтесь.

Стали собирать Николая, пока собирали, подъехала милицейская машина, кого-то взяли, поставили милиционера, отъехали. Николай пошел с рюкзаком и ножом, их там внизу оказалась целая группа людей, милиционера окружили, подмяли, через витрину стали впрыгивать и выпрыгивать люди, кто-то подрался с женщиной, отобрал у нее чемодан с хлебом, ей зажали рот и утащили в булочную. Народу внизу прибывало. Наконец пришел Николай с очень богатым рюкзаком — тридцать килограммов сушек и десять буханок хлеба. Николай снял с себя все и кинул в мусоропровод, сам в прихожей протерся с головы до ног

одеколоном, все ватки выкинул в пакете за окно. Дедушка, который был доволен всем происходящим, заметил только, что придется дорожить одеколоном и всеми медикаментами. Заснули. Утром Николай за завтраком один съел полкило сушек за чаем и шутил по этому поводу: «Завтрак съешь сам». Дедушка был со вставными зубами и тосковал, размачивая сушки в чае. Бабушка замкнулась в себе, а Елена все уговаривала девочку есть побольше сушек. Бабушка наконец не выдержала и сказала, что надо установить норму, не каждую же ночь грабить, вон и булочную заколотили, все вывезли. Подсчитали запасы, поделили все на пайки. Елена в обед отдала свой паек девочке, Николай был как черная туча и после обеда один съел буханку черного хлеба. Продовольствия должно было хватить на неделю, а потом наступала крышка. Николай и Елена позвонили на работу, но ни на работе Николая, ни у Елены никто не брал трубку. Звонили знакомым, все сидели по домам. Все ожидали. Телевизор перестал работать, там свистела частотка. На следующий день телефон уже не соединял. Внизу, на улице, ходили прохожие с рюкзаками и сумками, кто-то волок спиленное дерево небольшого размера. Возник вопрос, как быть с кошкой — зверек второй день ничего не получал и ужасно мяукал на балконе.

— Надо впустить и кормить, — сказал дедушка. — Кошка — ценное свежее витаминное мясо.

Николай впустил кошку, ее покормили супом, не особенно много, чтобы не перекормить после голодовки. Девочка не отходила от кошки, те два дня, когда кошка мяукала на балконе, девочка все рвалась к ней, а теперь ее кормила в свое удовольствие, даже мать вспыхнула: «Отдаешь ей то, что я отрываю от себя для тебя».

Кошку, таким образом, покормили, но продовольствия оставалось на пять дней. Все ждали, что что-нибудь будет, кто-нибудь объявит мобилизацию, но на третью ночь заревели моторы на улицах, и город покинула армия.

— Выйдут за пределы, оцепят карантин, — сказал дедушка. — Ни в город, ни из города. Самое страшное, что все оказалось правдой. Придется идти в город за продуктами.

— Одеколон дадите — пойду, — сказал Николай. — Мой почти весь.

— Все будет ваше, — сказал дедушка многозначительно, но и уклончиво. Он сильно похудел. — Счастье еще, что работают водопровод и канализация.

— Тыфу тебе, сглазишь, — сказала бабушка.

Николай ушел ночью в гастроном, он взял с собой рюкзак и сумки, а также нож и фонарик. Он вернулся, когда было еще темно, разделся на лестнице, бросил в мусоропровод одежду и голый обтерся одеколоном. Вытерев подошву, он ступил в квартиру, затем вытер другую подошву, ватки бросил в бумажке вниз. Рюкзак он поставил кипятиться в ба-

ке, сумки тоже. Добыл он не много: мыло, спички, соль, полуфабрика-ты ячменной каши, кисель и ячменный кофе. Дедушка был очень рад, он пришел в полный восторг. Нож Николай обжигал на газовом пламени.

— Кровь — самая большая инфекция, — заметил дедушка, ложась под утро спать.

Продовольствия, как посчитали, должно было теперь хватить на десять дней, если питаться киселем, кашами и всего есть понемножку.

Николай стал каждую ночь ходить на промысел, и возник вопрос с одеждой. Николай стал ее складывать еще на лестнице в полиэтиленовый мешок, нож все время прокаливал. Но ел по-прежнему много, правда, теперь уже без замечаний со стороны дедушки.

Кошка худела день ото дня, шкурка ее обтянула, обеды, ужины и завтраки проходили в мучениях, так как девочка все время старалась что-нибудь бросить на пол кошке. Елена начала просто бить по рукам. Все кричали. Кошку выводили, она бросалась об дверь.

Однажды это вылилось в страшнейшую сцену. Девочка пришла с кошкой на руках на кухню, где находились дедушка и бабушка. Рот у кошки и у девочки был измазан чем-то.

— Вот, — сказала девочка и поцеловала, наверное, не в первый раз, кошку в поганую морду.

— Что такое? — воскликнула бабушка.

— Она поймала мышку, — ответила девочка. — Она ее съела. — И девочка снова поцеловала кошку в рот.

— Какую мышку? — спросил дедушка, они с бабушкой оцепенели.

— Такую серую мышку.

— Вздутую? Толстую?

— Да, толстую, большую. — Кошка на руках у девочки начала вырываться.

— Держи крепче! — сказал дедушка. — Иди в свою комнату, детка, иди. Иди с кошечкой. Ах ты, гадина, ах, сволочь. Доигралась с кошкой, дрянь такая. А? Доигралась?

— Не ори, — сказала девочка и быстро убежала к себе.

Следом за ней пошел дед и побрызгал все ее следы одеколоном из пульверизатора. Потом он запер дверь в детскую на стул, потом позвал Николая, тот спал после бессонной ночи, с ним спала и Елена. Они проснулись. Все было обсуждено. Елена начала плакать и рвать на себе волосы. Из комнаты девочки доносился стук.

— Пустите, откройте, мне в туалет, — со слезами кричала девочка.

— Слушай меня, — кричал Николай, — не ори!

— Пусты, пусты! Сам не ори! Пустите!

Николай и остальные ушли в кухню. Елену пришлось держать запертой в ванне. Она тоже стучала в дверь.

К вечеру девочка утомилась. Николай спросил, сходила ли она в туалет. Девочка с трудом отвечала, что да, сходила в трусы, и попросила попить.

В комнате девочки находилась детская кровать, раскладушка, шифоньер с вещами всей семьи, запертый на ключ, ковер и полки с книгами. Уютная детская комната, которая теперь волей случая превратилась в карантин. Николай прорубил в двери что-то вроде оконца и велел девочке принять на первый случай бутылку на веревочке, где был суп с хлебными крошками, все вместе. В эту бутылку девочке велено было мочиться и выливать в окно. Но окно было заперто на верхний шпингалет, девочка так до него и не дотянулась, да и с бутылкой было придумано плохо. Вопрос с экскрементами должен был решиться просто — выдирались лист или два из книги, на него испражнялись и выбрасывали в окно. Николай сделал из проволоки рогатку и пробил, выстрелив три раза, довольно большую дыру в окне.

Девочка, правда, показала все плоды своего воспитания и испражнялась неряшливо, не на бумагу, не успевала сама следить за своими желаниями. Ее по двадцать раз на дню спрашивала Елена, не хочет ли она ка-ка, она отвечала, что не хочет, и в результате оказывалась измарианной. Кроме того, трудно было с питанием. Бутылок и веревок было ограниченное количество, веревка каждый раз отрезалась, и девять бутылок валялось в комнате к тому моменту, когда девочка перестала подходить к двери, вставать и отвечать на вопросы. Кошка, видимо, не вставала с тела девочки, она, правда, не появлялась в поле зрения давно, с тех пор как Николай стал охотиться на нее с рогаткой, поскольку девочка скармливала кошке почти половину того, что сама получала в бутылке, все это выливалось ей на пол. Девочка не отвечала на вопросы, кровать ее стояла у стены и не попадала в поле зрения.

Трое предшествующих суток, борьба за устройство жизни девочки, все эти нововведения, попытки как-то научить девочку подтираться (до сих пор это делала за нее Елена), передача воды, чтобы она как-то умылась, все эти уговоры, чтобы девочка подошла под дверной глазок за бутылкой (один раз Николай хотел помыть девочку, вылив на нее бидон горячей воды вместо подачи корма, и тогда она стала бояться подходить к двери), — все это настолько буквально стерло в порошок обитателей квартиры, что, когда девочка перестала отзываться, все легли и заснули очень надолго.

Но потом все завершилось очень скоро. Проснувшись, бабушка с дедушкой в своей постели обнаружили кошку со все той же окровавленной мордой — видимо, кошка ела девочку, но вылезла через отдушину — попить, что ли. Ай, ой, закричали, застонали бабушка с дедушкой, на что в ответ возник в дверях Николай и, выслушав все плачи, просто захлопнул дверь и завозился с той стороны, запирая дверь на стул. Дверь

не только не стала открываться, но и отдушины Николай не сделал, отложили это. Елена кричала и хотела снять стул, но Николай запер ее в ванной — снова.

А Николай лег на кровать и начал вздуваться, вздуваться, вздуваться. Прошлой ночью он убил женщину с рюкзаком, а она, видимо, была уже больна, так что не помогла дезинфекция ножа над газом — кроме того, Николай тут же, на улице, над рюкзаком, поел концентрата ячменной каши, хотел попробовать и, на тебе, все съел.

Николай все смекнул, но поздно, когда уже стал вздуваться. Вся квартира грохотала от стуков, мяукала кошка, в верхней квартире тоже дело дошло до стука, а Николай все тужился, пока наконец кровь не пошла из глаз, и он умер, ни о чем не думая, только все тужась и желая освободиться.

И дверь на лестницу никто не открыл, а напрасно, потому что, неся хлеб, шел по квартирам тот молодой человек, а в квартире Р. все стуки уже утихли, только Елена немного скреблась, исходя кровью из глаз, ничего не видя, да и что было видеть в абсолютно темной ванной, лежа на полу.

Почему молодой человек пришел так поздно? Да потому, что у него очень много было на участке квартир, четыре громадных дома. И второй раз молодой человек пришел в этот подъезд только вечером на исходе шестого дня, через три дня после того, как затихла девочка, через сутки после исхода Николая, через двенадцать часов после исхода Елениных родителей и через пять минут после Елены.

Однако кошка все мяукала, как в том знаменитом рассказе, где муж убил жену и заложил ее кирпичной стеной, а следствие пришло и по мяуканью в стене разобралось, в чем дело, поскольку вместе с трупом в стене был замурован любимый кот хозяйки и жил там, питаясь ее мясом.

Кот мяукал, и молодой человек, услышав единственный живой голос в целом подъезде, где уже утихли, кстати, все стуки и крики, решил бороться хотя бы за одну жизнь, принес железный ломик, он валялся во дворе весь в крови, — и взломал дверь. Что же он увидел? Черная знакомая гора в ванной, черная гора в проходной комнате, две черные горы за дверью, запертой на стул, оттуда и выскользнула кошка. Кошка ловко прыгнула в отдушину, грубо выбитую еще в одной двери, и там послышался человеческий голос. Молодой человек снял и этот стул и вошел в комнату, усеянную стеклом, сором, экскрементами, вырванными из книг страницами, безголовыми мышами, бутылками и веревками. На кровати лежала девочка с лысым черепом ярко-красного цвета, точно таким же, как у молодого человека, только краснее. Девочка смотрела на молодого человека, а на подушке ее сидела кошка и тоже пристально смотрела.

ТЕМНАЯ СУДЬБА

Вот кто она была: незамужняя женщина тридцати с гаком лет, и она уговорила, умолила свою мать уехать на ночь куда угодно, и мать, как это ни странно, покорилась и куда-то делась, и она привела, что называется, домой мужика. Он был уже старый, плешивый, полный, имел какие-то запутанные отношения с женой и мамой, то жил, то не жил то там, то здесь, брюзжал и был недоволен своей ситуацией на службе, хотя иногда самоуверенно восклицал, что будет, как ты думаешь, завлабом. Как ты думаешь, буду я завлабом? Так восклицал он, наивный мальчик сорока двух лет, конченный человек, отягченный семьей, растущей дочерью, которая выросла ни с того ни с сего большой бабой в четырнадцать лет и была довольна собой, в то время как уже девки во дворе ее собирались побить за одного парня, и так далее. Он шел на приключение как-то очень деловито, по дороге они остановились и купили торт, он был известен на работе как любитель пирожных, вина, еды, хороших сигарет, на всех банкетах он жрал и жрал, а виной всему был его диабет и непреходящая жажда еды и жидкости, все то, что и мешало и помешало ему в его карьере. Неприятный внешний вид, и все. Расстегнутая куртка, расстегнутый воротник, бледная безволосая грудь. Перхоть на плечах, плешь. Очки с толстыми стеклами. Вот какое сокровище вела к себе в однокомнатную квартиру эта женщина, решившая раз и навсегда покончить с одиночеством и со всем этим делом, но не деловито, а с черным отчаянием в душе, внешне проявлявшимся как большая человеческая любовь, то есть претензиями, упреками, уговорами сказать, что любит, на что он говорил: «Да, да, я согласен». В общем, ничего хорошего не было в том, как шли, как пришли, как она тряслась, поворачивая ключ в замке, тряслась насчет матери, но все обошлось. Поставили чайник, откупорили вино, нарезали торт, съели часть, выпили вино. Он развалился в кресле и поглядывал на торт, не съесть ли еще, но живот не пускал. Он смотрел и смотрел, наконец взял пальцами зеленую розу из середины, донес до рта благополучно, съел, облизал щепоть языком, как собака.

Потом посмотрел на часы, снял часы, положил на стул, снял с себя все до белья. Неожиданно очень белое оказалось белье, чистый и ухоженный толстый ребенок, он сидел в майке и трусиках на краю тахты, снимал носки, вытер носками ступни. Снял очки наконец. Лег рядом с ней на чистую, белую постель, сделал свое дело, потом они поговорили, и он стал прощаться, опять твердил: как ты думаешь, будет он завла-

бом? На пороге, уже одетый, заболтался, вернулся, сел к торту и съел с ножа опять большой кусок.

Она даже не пошла его провожать, а он, кажется, даже этого не заметил, приветливо и по-доброму чмокнул ее в лоб, подхватил свой портфель, пересчитал деньги на пороге, ахнул, попросил разменять трешку, ответа не получил и пошел себе со своим толстым животом, детским разумом и запахом чистого, ухоженного чужого тела, совершенно даже не подумав, что тут ему дан от ворот поворот на веки вечные, что он проиграл, прошляпил, ничего ему больше тут не выгорит. Он этого не понял, ссыпался вниз на лифте вместе со своей мелочью, трешками и носовым платком.

По счастью, они работали не вместе, в разных корпусах, она на следующий день не пошла в их общую столовую, а проторчала за своим столом весь обеденный перерыв. Вечером предстояла встреча с матерью, вечером начиналась опять та, настоящая жизнь, и неожиданно для себя эта женщина вдруг заявила своей сослуживице: «Ну как, ты нашла уже себе хахаля?» — «Нет», — ответила эта сослуживица стесненно, поскольку ее недавно бросил муж и она переживала свой позор в одиночку, никого из подруг не пускала в опустевшую квартиру и никого ни о чем не уведомляла. «Нет, а ты?» — спросила сослуживица. «Я — да», — ответила она со слезами счастья и вдруг поняла, что попалась бесповоротно, на те же веки вечные, что будет теперь ее трясти, ломать, что она будет торчать у телефонов-автоматов, не зная, куда звонить, жене или матери или на службу: у ее суженого был ненормированный рабочий день, так что его свободно могло не быть ни там, ни здесь. Вот что ее ожидало, и ее ожидал еще позор как то лицо, которое все бесплодно звонит ему по телефону все одним и тем же голосом в добавление к тем голосам, которые уже до того бесплодно звонили этому ускользающему человеку, наверное, предмету любви многих женщин, испуганно бегающему ото всех и, наверное, всех спрашивающему все одно и то же все в тех же ситуациях: будет ли он завлабом?

Все было понятно в его случае, суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба, а на глазах стояли слезы счастья.

СТРАНА

Кто скажет, как живет тихая, пьющая женщина, одна со своим ребенком, никому не видимая в однокомнатной квартире. Как она каждый вечер, какой бы ни была пьяной, складывает вещички своей дочери для детского сада, чтобы утром все было под рукой.

Она сама со следами былой красоты на лице — брови дугами, нос тонкий, а вот дочь вялая, белая, крупная девочка, даже и на отца не похожая, потому что отец ее яркий блондин с ярко-красными губами. Дочь обычно тихо играет на полу, пока мать пьет за столом или лежа на тахте. Потом они обе укладываются спать, гасят свет, а утром встают как ни в чем не бывало и бегут по морозу, в темноте, в детский сад.

Несколько раз в году мать с дочерью выбирают в гости, сидят за столом, и тогда мать оживляется, громко начинает разговаривать и подпирает подбородок одной рукой и оборачивается, то есть делает вид, что она тут своя. Она и была тут своей, пока блондин ходил у ней в мужьях, а потом все схлынуло, вся прошлая жизнь и все прошлые знакомые. Теперь приходится выбирать те дома и те дни, в которые яркий блондин не ходит в гости со своей новой женой, женщиной, говорят, жесткого склада, которая не спускает никому ничего.

И вот мать, у которой дочь от блондина, осторожно звонит и поздравляет кого-то с днем рождения, тянет, мямлит, спрашивает, как жизнь складывается, однако сама не говорит, что придет: ждет. Ждет, пока все не решится там у них, на том конце телефонного провода, и наконец кладет трубку и бежит в гастроном за очередной бутылкой, а потом в детский сад за дочкой.

Раньше бывало так, что, пока дочь не засыпала, ни о какой бутылке не было речи, а потом все опростилось, все пошло само собой, потому что не все ли равно девочке, чай ли пьет мать или лекарство. Девочке и впрямь все равно, она тихо играет на полу в свои старые игрушки, и никто на свете не знает, как они живут вдвоем и как мать все обсчитывает, рассчитывает и решает, что ущерба в том нет, если то самое количество денег, которое уходило бы на обед, будет уходить на вино — девочка сыта в детском саду, а ей самой не надо ничего.

И они экономят, гасят свет, ложатся спать в девять часов, и никто не знает, какие божественные сны снятся дочери и матери, никто не знает, как они касаются головой подушки и тут же засыпают, чтобы вернуться в ту страну, которую они покинут опять рано утром, чтобы бежать по темной, морозной улице куда-то и зачем-то, в то время как нужно было бы никогда не просыпаться.

СОДЕРЖАНИЕ

Такая девочка	3
Свой круг	14
Бедное сердце Пани	32
Через поля	35
Гигиена	37
Темная судьба	44
Страна	45

ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила Стефановна

СВОЙ КРУГ

Рассказы

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 13.09.90. Подписано к печати 19.10.90. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,26. Тираж 150000 экз. Зак. № 2814. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

— «Заботы о судьбе жены и детей служат предметом беспокойных дум и серьезных размышлений каждого семейного человека» — говорилось в рекламном проспекте дореволюционного страхового общества «Россия». Смешанное страхование жизни позволит Вам и сегодня позаботиться о себе, о своих близких.

— Заключение договора страхования Вы можете на различный срок — 3, 5, 10, 15 и 20 лет, — но окончание срока его действия не должно быть позднее Вашего 80-летия. Чем больше срок страхования, тем менее обременительным для Вашего семейного бюджета будет ежемесячный взнос.

— Страховые организации обязуются выплачивать определенные суммы за факт травмы в течение всего срока страхования. С заявлением о выплате страховой суммы Вы можете обратиться не позднее трех лет со дня травмы.

— Отбросьте суеверный страх, задумайтесь о будущем. Застраховав свою жизнь, Вы ничего не теряете, в любом случае уплаченные взносы вернутся в семью либо в виде накопленных денег, либо в виде материальной помощи Вашим близким.

— Предлагая свои услуги, Госстрах желает Вам доброго здоровья и долголетия!

**Государственное страхование СССР.
Правление.**